

## ЧАСТЬ 2

### ДОБА-МЭРА МЕДВЕДЕВА (ГУРЕВИЧ)

### ДНЕВНИК МОИХ ПРОЖИТЫХ ДНЕЙ

*Предисловие, редаKTура и примечания  
Михаэля Бейзера*

#### ПРЕДИСЛОВИЕ

Моя бабушка, Доба-Мэра (Мириам) Израилевна Медведева (урождённая Гуревич), родилась 15 ноября 1892 г. (25 хешвана 5655 г. по еврейскому летоисчислению) в местечке Хотимск Климовического уезда Могилёвской губернии. Семьдесят процентов трехтысячного населения местечка составляли евреи. Доба-Мэра рано — в 11 лет — лишилась матери, а в 16 — отца. В гимназию её не послали из-за нехватки средств. Единственной школой стал ей папин хедер, где она училась вместе с мальчиками: редкое, но возможное явление в тогдашней Литве и Белоруссии. Происходя из раввинского рода и имея просвещённого отца, девочка глубоко переживала своё отверженное положение, зависимость от других и невозможность получить образование. Кроме того, приходилось с детства тяжело работать по дому и на различных хозяев. Повсюду видела она крайнюю нужду, болезни, жадность, убожество, редко встречала человеческую доброту и сочувствие. Она пережила революцию 1905 года и два погрома, ходила на маёвки революционеров. «Детства у меня не было, но были детские годы», — напишет бабушка в своих воспоминаниях через много лет.



Доба-Мэра и Мейлах Медведевы с детьми: стоят (слева направо) Маша (Мария) (р. 1915), Зая (Израиль) (р. 1913), Рахиль (р. 1917). Сидят: Ися (Исаак) (р. 1922), Ида (р. 1924). Гесель (р. 1918) на снимке отсутствует. Ленинград, 1933 г.

Отец женился снова, и мачеха невзлюбила его детей от первого брака. После смерти отца девушка переехала жить на правах то ли племянницы, то ли прислуги к своей тётке в Клинцы. При этом она должна была поддерживать младшего брата Абрама (другой брат, Давид, умер в раннем возрасте). В 17 лет она вышла замуж за своего родственника, моего дедушку Мэйлаха Медведева (1892–1980). Отец Мэйлаха, Янкель-Мойше (1868? — 1913)<sup>1</sup>, владелец мельницы, не хотел брака с бесприданницей и, надеясь, что любовь сына скоро пройдет, даже склонил сироту переехать жить к ним без венчания — поступок, грозивший молодой девушке позором, если бы свадьба не состоялась. Однако с формальной стороны всё кончилось благополучно: молодые поженились и прожили вместе 62 года. Травма, впрочем, не была забыта, и она

<sup>1</sup> Я благодарен своей троюродной сестре Анне Дыментман (Афула) за сообщение мне имён и дат жизни наших общих предков.

отразилась в мемуарах, наперекор принятому в её кругу запрету такие вещи вспоминать.

С окончанием нэпа бабушка с дедушкой и с шестью детьми перебрались из Клинцов в Ленинград. В Клинцах они держали булочную и не имели, как лишенцы, гражданских прав, потому и переехали, чтобы дать образование детям. О своём образовании думать не приходилось. Дедушка работал начальником транспортного отдела на разных предприятиях, бабушка занималась хозяйством и воспитывала детей.

В 1939 году в возрасте 47-ми лет бабушка решила, что она уже достаточно пожила, чтобы приступить к написанию мемуаров. После того как они были завершены, она уничтожила записи о межвоенном, советском периоде, что очень жаль, но не удивляет, учитывая, какие страшные годы накануне пережил весь Ленинград. Кроме того, зачем детям помнить, что папа был «лишенцем» и что его «вычищали» из партии? Лучше остановиться на том, как он в Клинцах пёк хлеб для дивизии Щорса. Сохранились ещё некоторые записи времен финской и Отечественной войны, а также 1950-х и 1960-х годов, но они не включены в настоящую публикацию.

Когда в 1952 году дедушка вышел на пенсию, они переехали в ближний пригород Ленинграда, Левашово. Никто из нас, внуков, не знал, что зелёный сплошной забор в левашовском лесу, за который нам было запрещено даже заглядывать, окружал бывшее место массовых расстрелов «врагов народа».

В огороде бабушка и дедушка выращивали картошку, овощи, ягоды, в сарае держали козу и кур. Дома соблюдался кашрут, висели мезузы. Дедушка ездил молиться в нелегальный *миньян* в Парголово, а иногда и в Большую хоральную синагогу на Лермонтовский.

Удобств в доме не было, за водой надо было ходить с вёдрами на колонку. Внуков оберегали от улицы, опасаясь антисемитизма. Когда бабушка с дедушкой умерли (она 24 адара 5736 г., т.е. 25 февраля 1976 г., а он в 1980 г.), на веранде нашли сундук *сифрей кодеш* (священных книг).

Воспоминания бабушки пережили эвакуацию и были обнаружены младшей дочерью Идой, которая унаследовала дом в Лева-

шова. Летом 2001 г., за год до своей смерти, тётя Ида передала мне бабушкины тетрадки, о существовании которых кроме неё, я думаю, никто не знал.

Воспоминания бабушки, на мой взгляд, являются не только важным семейным документом, но имеют и историческую ценность. Это, насколько мне известно, очень редкие воспоминания о литовско-белорусском еврейском местечке конца XIX — начала XX в., написанные бедной, необразованной женщиной, да ещё с такой силой. Описанная обездоленной девочкой местечковая жизнь лишается всякого романтического ореола, приданного ей теми, кому в местечке жилось хорошо<sup>1</sup>, а также подверженными ностальгии послевоенными исследователями<sup>2</sup>. Поражает, что простая женщина, не имея понятия о феминизме, осознавала себя личностью, которой есть что сказать, опыт которой может пригодиться для потомков. Впечатляет её природный ум и осведомлённость.

В воспоминаниях Добы-Мэры сплетаются две жизненные позиции: с одной стороны, стремление выставить себя жертвой обстоятельств, характерное для женщин, сирот, представителей дискриминируемых меньшинств и иммигрантов, с другой — подчёркивание своей решимости отстаивать собственное право на жизнь. Можно в них заметить и стремление рассчитаться, пусть задним числом и в эпистолярной форме, со своими обидчиками. Создаётся ощущение, что и частые смены мест работы и участие в революционной деятельности для Добы-Мэры были лишь попытками уйти от одиночества, обрести круг людей, который заменил бы ей семью. Этого, к сожалению, ей так и не удалось сделать до замужества, да и само замужество оказалось не очень удачным, по крайней мере в её оценке.

Текст воспоминаний пришлось отредактировать для облегчения восприятия. Ведь русский не был родным языком Добы-Мэры, а на идише она избегала писать, видя, что он выходит из употребления.

<sup>1</sup> В этом смысле публикуемый текст — полная противоположность «Воспоминаниям бабушки» Полины Венгеровой. Гешарим, Иерусалим; Москва, 2003.

<sup>2</sup> См. по этому поводу мои очерки: «Жизнь в еврейском местечке конца XIX — начала XX века» <http://berkovich-zametki.com/2009/Starina/Nomer2/Bejzer1.php> и «Тевье-молочник как зеркало русской революции, или Два мира Шолом-Алейхема» <http://www.jewishagency.org/JewishAgency/Russian/Education/Jewish+Life/Culture/Fiddler.htm>

Есть, разумеется, в бабушкиных воспоминаниях проблема ограниченности средств самовыражения, её зависимость от принятых в обществе и СМИ идей и речевых оборотов. Не случайно в своей книге «Как наши жизни становятся историями» Пол Икин задается вопросом: «Какая часть из того, что авторы автобиографий рассказывают как ими пережитое, они действительно испытали, а какая — просто то, что они знают, как высказать»<sup>1</sup>?

Всё же автобиография — это не художественная литература, не полная выдумка, как кажется некоторым деконструктивистам. Тем менее это относится к такому неискушенному автору, каким была Доба-Мэра Медведева. Изложенные под углом зрения отверженной личности, преломлённые через призму традиционной еврейской местечковой культуры и напылённых на неё «классового сознания» и атеизма, профильтрованные сквозь самоцензуру идеологических и моральных установок, её воспоминания основаны на реальных фактах собственной жизни (если исключить пересказ слухов, которые она не имела возможности проверить) и, пожалуй, помогут по-новому взглянуть на еврейское местечко черты оседлости.

В заключение мне хочется поблагодарить Наталию Васильевну Юхнёву за предложение опубликовать бабушкины воспоминания и за помощь в подготовке публикации. Я также благодарен своей старшей сестре Тэме Слободинской и двоюродному брату Вениамину Медведеву за поддержку данного проекта.

*Михаэль Бейзер  
Октябрь 2009 г., Иерусалим*

## **Тетрадь 1 В Хотимске и Клинцах**

25 сентября 1939 года

Давно я решила написать на память своим детям автобиографию и дневник своих прожитых дней и отобразить хотя бы

---

<sup>1</sup> Eakin Paul John. *How Our Lives Become Stories: Making Selves*. Cornell University Press, 1999. P. 4.

наиболее запомнившиеся моменты из моей жизни. Хотя мне ещё не так много лет, но всё же мною было много пережито плохого, и повседневно в моей жизни столько интересного, разных переживаний, что часто в уме перебираешь пережитое; и если буду ещё жить и на досуге открою тетрадь, написанную мною в прошлые дни или годы, то не без интереса буду читать их. Тем более дети, они меня очень любят. И несмотря на то, что их, кажется, мало интересует прошедшая жизнь родителей и они немного знают мою прошлую жизнь, но всё же в написанном будет более ярко изображено всё, и к тому же им останется на память мамина рукопись, как и мамин портрет. Мне, например, стоит много здоровья, что у меня от моей матери ничего не осталось, что бы мне напоминало о ней. А вот от отца есть портрет. И я очень часто на него смотрю. Во-первых, интересно, как память о близком, родном и любимом тебе человеке, и к тому же много напоминает о своей прошлой жизни вместе с ним.

И вот сколько раз я собиралась начать писать, и всё не удавалось по разным причинам. Основное — это вечно некогда, потому что я должна обслуживать свою семью, и каждая минута у меня дорога. Итак, я назову эту тетрадь дневником и посвящу его своим детям, и буду разговаривать с ним, как с избранным и доверенным моим единственным другом, то есть перо моё здесь напишет все мои мысли и воспоминания. Начну я со дня моего рождения, то есть с рассказов моих родителей, когда я не помнила ничего, не понимала, а после — со своих впечатлений.

Родилась я в Белоруссии в местечке Хотимск бывшей Могилёвской губернии. Отец мой был «меламедом» — это учитель, обучающий детей еврейской грамоте. Мать была домохозяйкой. Опишу немного их нрав и характер. Мать была очень красивая, стройная, добрая и ласковая женщина, никогда я не слышала её громкого голоса. Отец был, как и полагалось в старое время, главой семьи. Он был очень образованным для того времени, по-еврейски и по-русски, умел читать латынь, очень интересовался политикой, выписывал газеты, какие были в то время, насколько

мне кажется, газету «Дер фрайнд», «Гамелиц»<sup>1</sup> и другие, что в захолустном местечке было редкостью. У него были красивые русые курчавые волосы и борода, так что он был скорее похож на поэта, чем на меламеда. Он хорошо знал математику, и к нему часто приходили экстерники, чтобы он им помог решить задачу, если у них не выходило, и он им всегда помогал.

Богатых он не любил. Когда он бывал в синагоге, то он не любил сидеть на почётных местах, то есть у *Мизраха*. Эта восточная сторона синагоги считается почётной, но он всегда находился среди ремесленников и бедняков; эти люди сидели посередине синагоги и около дверей и средней трибуны<sup>2</sup>, так как бедные и ремесленники не допускались на почётные места. Случалось, что богатый ремесленник купит почётное место у Мизраха, тогда соседи-богачи от него сбегали. И стоял тогда в синагоге сплошной переполох и негодование — с одной стороны — от богачей, а с другой стороны — от ремесленников и бедняков, которые кричали: «Нас не любят! Наши деньги трэфные, потому что мы трудом деньги добываем». Шум продолжался, пока общество синагоги — уважаемые люди, руководители общины — не вмешивались и не решали, вернуть ли ремесленнику деньги и оставить место для синагоги, или богач, который сидит рядом и ненавидит своего соседа, должен выкупить это место для себя. То есть тогда покорный ремесленник забирает деньги и посылает своему соседу и обществу все проклятия, которые он только знает, говоря: «Я и сам не хочу около таких сидеть». А другой наоборот: «Вы не хотите? Вам противен ремесленник? Я не вор, я судом возьму». И пойдёт дело в суд, к земскому начальнику. Какая сторона сумеет повернуть суд, то есть подкупить, той стороне суд присудит. Но если присудят место ремесленнику, то обыкновенно кончалось тем, что богатый сосед уходит или примирится с новым соседом.

---

<sup>1</sup> «Дер Фрайнд» (друг) — первая ежедневная газета на идише в России, выходила в Петербурге с 1903 г. под ред. С.М. Гинзбурга. Первое время имела сионистскую окраску. С 1909 г. издавалась в Варшаве.

«Гамелиц» (Хамелиц — переводчик, заступник) — газета на иврите, основана в Одессе в 1860 г. В описываемое время выходила ежедневно в Петербурге под ред. Л. Рабиновича. Закрылась в 1904 г.

<sup>2</sup> Имеется в виду *бима* — возышение для чтения свитка Торы.

Итак, я немного отвлеклась в сторону. И вот мой отец, как я уже говорила, очень любил ремесленников и бедняков, и они его любили и уважали. Бедных детей он учил бесплатно. Хотя в местечке была группа бедных детей, которые обучались за счет Общества для бедных евреев [помощи бедным евреям. — *М.Б.*], но были такие родители, которые стыдились отдавать туда своих детей. И вот отец их обучал, несмотря на то что он был очень загружен работой, рано вставал и поздно ложился, и всё занимался с ребятами. С 7 до 9 утра он занимался с ребятами не своей группы, а также вечером, с 8 до 10 вечера, он тоже занимался с учениками вне группы, а с 9 утра до 8 вечера он занимался с основной группой, состоявшей из 8–10 ребят, преимущественно мальчиков. Девочек не принято было учить: во-первых, тратить на них деньги, а во-вторых, родители в то время считали, что девочкам это лишнее. Зачем отрывать её от хозяйства? К тому же, когда вырастет, быть ей нянькой или портнихой, а для этого грамоту знать не нужно. Как бы мой отец ни был занят, почитать газету, разбираться в политике, поговорить о еврейском вопросе он находил время. А еврейских вопросов было много, я после напишу, сколько я помню гонений на евреев. Отец также читал много литературы, еврейских и русских писателей.

Для хозяйственных дел у отца было время каникул. А это было два раза в году — перед еврейской Пасхой и во время осенних еврейских праздников. В это время он справлял хозяйство. Даже плотничью работу он самостоятельно делал, чем всех удивлял. Мне даже помнится, что он две стены построил и этим соединил две избы, стоявшие поодаль одна от другой. Сам рубил бревна и клал на мох. Прохожие останавливались, смотрели с удивлением и спрашивали, откуда он это всё умеет. Здоровья у него было много, а ума ещё больше.

К тому же мой отец был хорошим общественником и организатором. Например, он организовал общество всех меламедов своего местечка и банк [кассу взаимопомощи. — *М.Б.*]. Каждый меламед вкладывал в банк пай в размере от 10 до 25 рублей, смотря по своим материальным возможностям, а когда кто-то из них нуждался, то ему давали ссуду на выплаты, скажем 100 р. на 10 месяцев. Проценты были совсем маленькими, только на расходы



банка. Этот банк очень поддерживал бедного меламеда в крайней его нужде. Скажем, кто-нибудь из его семьи или он сам заболел, или нужно что-либо купить или дрова на зиму, либо сделать ремонт своего жилья, и ещё много было таких причин. В то время если обращаться за помощью к состоятельному, то нужно было ему закладывать вещи и платить большие проценты, и бывали случаи, что они себе присваивали вещи под разными предложениями. Итак, это был маленький банк, как они его называли «Хевре гмилес хасадым», что означает Общество одолжения.

Еще он организовал ссудно-сберегательное товарищество. Это уже был банк, который выручал всю бедноту местечка. Несмотря на то, что во многих местностях были такие банки, но наши богачи не спешили с этим и даже не хотели этого, так как им это было невыгодно по совсем простой причине. Дело в том, что все евреи нашего местечка, за исключением нескольких ремесленников, занимались ездой по деревням и сбором сырья и утиля. Но так как для этого были нужны деньги, а они в большинстве были бедны, то богачи давали им деньги в обмен на обязательство продавать им весь собранный товар по назначенной ими же цене. И получалось, что бедняк всю свою жизнь проводил в скитаниях, он ездил на худой лошадке, голодный и оборванный. В особенности было тяжело в осеннее и зимнее время. Он тогда был озябший, мокрый до мозга костей. Если по пути попадётся к хорошему крестьянину, то тот пустит погреться да ещё и накормит, а случись плохой, то на порог не пустит, и приходится заночевать на поле или в лесу. В результате при такой тяжёлой жизни он никогда не мог расплатиться с богачом подчистую. Всегда он ему оставался должен. А семья его форменным образом голодала. А богатый ему всё говорил, что, если бы не он, то бедняк бы давно умер с голоду. От такой жизни бедняки грубели, болели и преждевременно умирали.

И вот мой отец начал ходатайствовать об организации для этих бедняков банка. Но богачи нашего местечка не допускали, ибо они знали, что если бедняк получит деньги в банке, то он дешёво свой товар им не продаст. И так как известно, что бедняки не могли соревноваться с богачами, то отцу моему стоило много трудов, даже ездил куда-то и, наконец, добился того, что этот банк откры-

ли, и бедняки свободней вздохнули, и отец был очень доволен, и они ему были очень благодарны.

У отца моего был такой благородный характер, что если кому плохо, своему или чужому, он считал своим долгом помочь во что бы то ни стало. К тому же отец любил искусство. Играл на сцене, и ни одна вещь не ставилась без его участия. Но как в то время было приятно у евреев, играли только пьесы из исторической жизни евреев. Могу привести более известные пьесы «Хохмес-Шлойме», что означает «Мудрость Соломона», «Мхирас Иосеф» — это «Продажа Иосифа»<sup>1</sup> и много других вещей.

Но одно он не любил — это своё ремесло. Первое и основное — это потому, что оно не давало на жизнь. К тому же его очень раздражала неспособность ребят. Он говорил: когда учишь способного ученика, то сразу видишь плоды своих трудов, но когда учишь, как он выражался, тупицу, то одно и то же ему повторяешь без конца, а он на тебя выпучит глаза, ничего не понимая, и смотрит, что баран на новые ворота. И к тому же очень часто позанимается он с учениками, а потом ему не уплачивают. У большинства родителей считалось платить за учёбу, как он называл «схар-лимуд» [плата за обучение, иврит. — М.Б.], на последнем плане. И в таких случаях отец говорил, что его ремесло хуже, чем у водоноски, потому что, если ей не уплатишь, то она воды не принесёт, а другая не возьмётся, потому что первой не уплатили. А меламеду не уплатишь, то и он ученика домой не пошлёт, и другой возьмёт не платного ученика, потому что все нуждались в учениках. Вот он сколько раз бросал своё ремесло и хотел заняться чем-нибудь другим, но так как другого ремесла не было, а средств также не было, то без денег он не мог ничего другого придумать. Были, правда, богатые родственники со стороны матери, но богачи одинаково не любят помогать как чужим, так и своим, и поэтому он с разбитой душой брался за свой *хедер* [или *хеидер*, религиозная школа. — М.Б.], ненавидя это ремесло и повторяя всё время одно и то же, упоминая богатых людей своего местечка, своих сверстников: «Чем я хуже их? Учился лучше их и понимаю не меньше их. И всё же они живут обеспеченно, а я должен быть

---

<sup>1</sup> «Хохмес-Шлойме» и «Мхирас Иосеф» — названия распространенных тогда пуримшпилей. Благодарю Евгению Хаздан за эту ссылку.

бедняком и мучиться век со своим хедером, толочь воду в ступе». Вот что я знаю о своём отце. Так как отец был бедняк, то и мне несладко жилось.

О своей жизни я помню примерно с четырёхлетнего возраста, а до этого — по рассказам своей матери. Хотя я помню свою мать задумчивую, молчаливую. Только когда качала ребенка, она пела песни, но песни эти всегда были грустные, и мне всегда от этих песен хотелось плакать. Она мне рассказывала, что я маленькая часто серьёзно болела, но всё же была очень смышлёная. Когда я немного подросла, то стала очень впечатлительная [наблюдательная?], от моего взгляда ничего не ускользало. Жили мы в маленькой избушке с маленькими окошками. Зато место считалось центром. Избушка эта была дедушкина. У дедушки на одной усадьбе были две хаты: в одной он жил, а в другой мы жили. Но почему-то дедушка всё время был у нас больше, чем дома. Когда дедушка, то есть отец моего отца, умер, мне было четыре года, и я помню его немного. Он был высокий, добрый старик, и очень умный, поэтому какие бы ни возникали конфликты у наших евреев, его всегда приглашали на разбирательство. Мать мою он очень любил и уважал. И когда она о чём-нибудь ему жаловалась, он её утешал ласково. В то время мне не были понятны её горести, но потом я уже понимала.

Помню его смерть. Он умер почти на ногах, хоронили его с большим почётом: был геспед [некролог, иврит. — *М.Б.*], это значит траурный митинг. Все лавки, как еврейские, так и русские, были закрыты в день похорон, и все ремесленники не работали. Местечко было как мёртвое, все были на похоронах, говорят, что даже младенцев не оставили в люльках. Каждый считал для себя большой честью нести его.

Наш род со стороны отца считался почётным, но бедным. Дедушка был в восемнадцатом поколении раввином. Род отца был Сыркины<sup>1</sup> из Чечерска [(нрзб.); это были большие люди, очень учёные, коммерсантов и ремесленников не было. Род со стороны матери считался более известным, потому что многофамильный

---

<sup>1</sup> Отца бабушки, Израиля-Зева-Вольфа (1865–1909), записали сыном супругов Гуревичей, не имевших других сыновей, для того чтобы избежать его призыва в армию.

[многочисленный? — *М.Б.*] и к тому же коммерческий, и почти все богатые. Мать [Рохл-Леа (ур. Злотина, ум. 1903). — *М.Б.*] у них была самая младшая сестра и самая бедная, но помочь ей никто не думал. Разве что, когда бабушка, отец моей матери, был жив, то он помогал. Когда мне было лет пять, мать заболела. Причина её болезни была следующая. У меня есть брат Абрам. Он в детстве очень болел. Причина его болезни была в том, что у него был неблагополучный брыс [брит-мила, обрезание. — *М.Б.*]: у евреев существует обряд обрезания новорождённых мальчиков<sup>1</sup>. И вот после обрезания у него пошли нарывы, и с ним мучились до трехлетнего возраста. Он не мог ни сидеть, ни ходить и всё кричал от боли. И так как жили мы в глухом местечке, то лечить его некому было. Тогда мать поехала с ним в г. Сурож<sup>2</sup> к доктору, так как это была почти родина моей матери. Она родилась в деревне Улазовичи, в семи километрах от Сурожа. Она ехала на подводе, и ребенок сидел у неё на коленях. Когда они приехали, и она стала слезать с телеги, то из-за того, что у неё замлела нога, она не удержалась, упала боком на ось телеги и очень ударила бок. Но так как ей некогда было о себе думать, она оставила ушиб без внимания. В результате этим ушибом она повредила легкие и серьёзно заболела. Однако бедность не позволяла ей за собой смотреть и лечиться.

Так вот с пятилетнего возраста я стала большой и помогала матери по хозяйству во всём. Я понимала всю тяжесть своего положения и положения семьи. Со мной разговаривали как с большой. На улице с детьми мне гулять некогда было. В то время нас было двое детей. Был еще один до Абрама, моего брата, но он от болезни умер. На шестой год отец начал учить меня грамоте наравне с учениками своего хедера. По рассказам отца, я была очень способная, усваивала быстро новые темы учёбы. В разговоре с друзьями отец всё жалел, почему я девочка, а не мальчик. «Это, — он говорил, — потому, что мальчику обязательно нужны хорошие способности, чтобы продолжить учёбу, так как мужчи-

---

<sup>1</sup> Воспоминания написаны в расчёте на совершенно ассимилированных потомков, не знающих даже, что у евреев существует обрезание.

<sup>2</sup> Сурож — уездный город Черниговской губернии южнее Хотимска. 4 тыс. жителей, более половины — евреи.

не это необходимо, а девочке необязательно, тем более еврейское образование». Он, конечно, по тому времени был прав, потому что женщине небогатого рода нужна была специальность, как говорили, ремесло, чтобы она могла зарабатывать себе на жизнь. Конечно, в богатом обществе были и такие, которые давали женщине образование со специальностью, например, учительницы, врача, акушерки-фельдшерицы и так далее. И такие женщины, наверное, могли себе обеспечить жизнь, но при всём желании и хороших способностях в нашей среде это было невозможно осуществить, потому что мы были евреями, и притом бедными.

Несколько слов поясню, что такое бедные и евреи и почему они не могли учиться наравне с другими. Когда в России был капиталистический строй, то есть страной правил царь Николай II, его называли тогда «самодержец всероссийский», и ещё втайне «Николаем кровавым» называли. Он со своими министрами то и дело издавал новые репрессивные законы против бедняков вообще, тем более против нацменов, в особенности евреев. Евреи очень стремились к учёбе, но николаевские просвещенцы [чиновники Министерства народного просвещения? — М.Б.] их не допускали к этому, говоря, что станет еврейское засилье, так как будет больше образованных евреев, нежели русских, и они вытеснят их с занимаемых ими мест. И потому было установлено, что в низших школах принимали 7 % евреев, а в высших — 5 %, и таким образом могли туда попасть только богатые, а бедные и мечтать об этом не смели.

Итак, детства у меня не было, но были детские годы. В обстановке, в которой я росла, со мной, как с ребенком, никто не обращался, разговаривали как со взрослой. Это было по простой причине. Во-первых, бедность, во-вторых, болезнь матери. К тому же вечно занятый отец, он со мной разговаривал, как со всеми своими учениками: спросит о заданном уроке, выучила ли я, или пошлёт обедать или спать. Такие разговоры велись со мной примерно до 8-ми или 11-ти лет. В то же время своим знакомым он меня очень хвалил. Учил он меня сам, как я уже говорила, и дал мне образование еврейское, русское и древнееврейское. Обучал он меня самому настоящему Талмуду, к чему девочки не имели совершенно никакого отношения, и истории евреев на древнеев-

рейском языке. Этой, как он говорил, «мудрой грамоте», обучали только мальчишек, но так как у меня способности были хорошие и другого образования он мне не мог дать, то, как отец говорил, было жаль отрывать меня от учёбы. Он прекрасно понимал, что эта учёба, как Талмуд, мне в будущем ничего не даст. Всё же он решил, что это лучше, чем совсем без образования, так как отец очень любил образование и говорил обо мне: «Пусть учит, это ей не помешает в жизни, и нетяжело будет это носить». К тому же у нас не было мальчика, которого бы можно было учить. Абрам, мой брат, был ещё маленьким, поэтому отец учил меня, как мальчика. Но я среди мальчиков чувствовала себя одинокой и рада была, когда наставлял час обеда или конец дня.

В первый год своего учения я уже учила Хумеш, это Пятикнижие, где написана история евреев от сотворения мира до их вступления в Палестину. Так как наше местечко было маленьким, то все быстро узнали, что у Вели, так звали моего отца, есть очень способная девочка и что она учится лучше мальчиков. Евреи не раз приходили слушать, как я учусь, и очень меня хвалили за способности, а отец в это время сиял от восторга и посылал меня гулять на улицу, а сам восторженно меня хвалил своим гостям. Были и такие родители, которые отдавали своих мальчиков к отцу учиться с условием, чтобы отец приобщил их ко мне. Не раз отец поручал мне помогать неспособным ученикам заучивать задание, и я всегда это с удовольствием выполняла, поскольку я понимала, что отцу тяжело с ними справляться одному. Но когда я им объясняла, а они не так скоро понимали заданное, то я удивлялась, почему они не понимают. Ибо я с полуслова понимала новую тему.

Вообще учење мне давалось легко, но всё же в Талмуде были написаны такие вещи, которые моя детская головка не могла понять. И зачем нужно было такими вещами забивать детям головы, я и до сих пор не понимаю. Во время занятий я неоднократно задавала вопросы о непонятных местах, но вместо разъяснения ответы на них были типа «Подрастёшь — поймёшь», или «Об этом нехорошо говорить», или «Об этом спрашивать ничего нельзя». Например, мне было непонятно начало сотворения мира. Оно не укладывалось в моей маленькой головке, и я была не согласна с ответами, которые я получала. Как теперь помню, мой отец удив-

лялся моим вопросам, потому что другие об этом не спрашивали. Почти всегда он отвечал, что Богом запрещены такие вопросы. Итак, я до сих пор, будучи уже пожилой, не понимаю, зачем Богу сердиться на то, что я хочу хорошо понять.

Итак, от пяти до десяти лет моя жизнь была почти однообразной: целый день хедер, а в свободное от этого время я помогала матери по хозяйству, так как она болела. Так как мать меня жалела, что я мало гуляю по сравнению с девочками моего возраста, она меня иногда посылала гулять. Во время занятий я была с мальчиками, а на улице с девочками. Подруг у меня было много, так как родители хотели, чтобы их девочки со мной гуляли. Это было потому, что, во-первых, мы считались честной семьей и я хорошо училась. Во-вторых, девочки меня очень любили и относились ко мне с уважением за то, что я и учусь хорошо, и дома всё по хозяйству делаю. Меня тогда взрослые называли маленьким ребёнком с взрослой головой. В субботу пойду к девочкам гулять, а там у них куклы, правда, самодельные из тряпок, но меня зависть брала. Заговорит во мне душа ребёнка, и, вернувшись, домой, я тоже нашью кукол. Но стоит мальчикам это заметить, то они их вытащат и друг другу покажут и осмеют меня. И тогда я от них куклы стала прятать. Откровенно говоря, я сама не особенно любила играть в куклы, потому что, проводя большую часть своего времени с мальчиками, я невольно приучилась к их играм, например, дома — в перышки, во дворе — в бабки, в чурку-полку и ещё в другие такие игры. Я бросала в цель не хуже мальчиков. В то время девочки этого совершенно не умели.

Девочки ещё меня любили за то, что я была весёлая и хорошо пела песни. Я знала много песен, их изредка пела мать, и я их выучила, и отец в праздники также пел. Ещё у нас был сосед, он жил через холодные сени от нас. У него была большая семья, они чинили галоши и этим кормились, и в зимние вечера, когда они работали, они пели старинные еврейские и русские народные песни. И я от них выучилась и тоже пела, и потому когда я приходила к девочкам, то все сразу хором кричали, что хотят учить новые игры или петь, и уже всем становилось весело.

Примерно в десятилетнем возрасте мы, трое девочек моего возраста, я, Фаня Рубинчик и Даша Блантер, решили обучать

грамоте бедных еврейских девочек. Почему еврейских? Потому что было училище для русских, а еврейских туда не принимали. И вот по субботам в квартире Рубинчика стали собираться чуть ли не все девочки нашего местечка, и мы их учили читать, писать и задавали на дом уроки. Но однажды явился к ним во двор какой-то странный нищий, и все закричали, что это шпион от полиции высматривает, чем мы тут занимаемся. И к тому же нельзя собираться многим вместе, за это арестовывают и судят. И вот мы попрыгались, пока нищий не ушел, и потом прекратили занятия с детьми, ещё и старшие нам пригрозили. Мы конечно об этом очень жалели, нам очень хотелось, чтобы все девочки нашего местечка были грамотными.

Одевались мы очень бедно. Единственное платье, которое у меня было, тоже было не новым, а с чего-то перешитым, поэтому зимой оно у меня было всегда светлое, а летом, наоборот, темное. Для того чтобы оно у меня на праздник или субботу всегда было чистым, я его накануне вечером стирала, а назавтра опять надевала. Так я носила одно платье, пока совсем не разорвётся. Обувь, правда, всегда была целая, хотя и некрасивая. Это потому, что почти всегда у отца учились дети богатых сапожников, и они за плату шили нам обувь. Правда, их обувь не была так добросовестно сделана, как на заказ, то есть за наличные деньги, но всё же мы и этому были рады. Мне помнится, что однажды мне сшили ботинки на пуговицах. Назывались они венгерками и почему-то оба были на одну ногу, и получилось, что пуговицы с обоих ботинок догоняли друг друга, и я очень была обижена этими ботинками. На улице надо мной смеялись, говоря, что у меня появилась новая мода, а я стыдилась в них днём ходить, но всё же из-за отсутствия других я в них ходила. Почему-то в то время я не завидовала другим девочкам, что у кого есть хорошее. В первых, богатых было мало, чтобы хорошо детей одевали, и даже наоборот, были дети, что ходили хуже меня.

В то время, когда мне было лет 10–11, у меня произошла маленькая перемена в учёбе, о чём я хорошо помню. К нам в местечко приехал учитель. Его фамилия была Додин. Он преподавал все предметы и сам учился, как было принято по тому времени, экстерном. Он начал набирать уроки, учеников обоего



пола, и мальчиков, и девочек. Многие родители отдавали ему своих детей, и меня отец отдал ему в учение, так как, по его мнению, я могла совмещать эту учёбу с хедером. И вот я занималась по утрам с группой детей из четырёх или пяти человек. Мне эта учёба очень нравилась, и я занималась хорошо. Учитель меня отцу очень хвалил, и учёба у учителя (Додина) не отразилась на моих занятиях в хедере. Моему отцу хотелось, чтобы я была особенная по сравнению с другими детьми. У него был коллега, который хорошо знал древнееврейский язык [иврит] со всеми правилами и грамматикой, и отец определил меня и к нему в группу. Его фамилия была Хазанов, и он был очень умным и образованным человеком. У него я занималась по вечерам, тоже в группе из четырёх или пяти учеников, но преимущественно мальчиков, из них уж никого нет, только Эпштейн где-то живой. Все они были старше. Из девочек я была одна, но и здесь я хорошо училась. Не прошло много времени, как я научилась хорошо писать и читать и декламировать стихи на древнееврейском языке.

Единственное, что мне плохо удавалось выучить — это употребление буквы «Ять». Эта буква употреблялась тогда в русском языке, и нужно было заучивать все слова, в которых она употреблялась. Я ночи не спала, всё зубрила: бег, бегун, беглянка — слова, в которых эта буква пишется вместо буквы «Е». А после согласных в конце слов ставили «Ъ». Когда пришла советская власть, то сразу появились плакаты «Долой букву “Ять”!». Вот и начали писать вместо «Ять» «Е» и без твердого знака.

Заго я очень любила стихотворения всех писателей, в особенности Пушкина, в особенности «Кто он?», «Мчатся тучи» и ещё другие, и любила басни Крылова, и любила читать книги, но не было времени.

Однако учиться долго не пришлось, так как мать всё слабела, её не лечили, и питать<sup>1</sup> её нечем было. Несмотря на то что у матери была большая семья и почти все жили хорошо, помочь ей ник-

---

<sup>1</sup> Видимо, говоря «питать», а не «кормить», бабушка имеет в виду усиленное питание, которое должно было помочь справиться с болезнью. Здесь и далее высказывается мысль, что хорошее питание — важнейшая составляющая лечения.

то не хотел. Как-то раз её уговорили поехать в Клинцы<sup>1</sup> к доктору. Там у неё был богатый брат Израиль Медведев, так он её даже в комнаты не пустил, а уложил спать на жесткий сундук в холодном коридоре — вот какая помощь была оказана больной, бедной сестре. Врач нашел тогда болезнь несерьезной и велел явиться к нему ещё раз, но так как некуда было заехать, то она больше не поехала, несмотря на то что после лечения ей стало лучше. Мать хорошо понимала, что её дни сочтены. Очень часто она останавливала свой взгляд на мне и говорила: «Что с тобой будет, когда меня не станет?». Как тяжело было ребёнку слышать от родной матери такие слова! Никакому врагу это пожелать нельзя. Состояние её здоровья всё ухудшалось, и мне больше и больше приходилось работать дома по хозяйству. Я готовила обед и пекла хлеб и булки. Так как я была мала и не могла доставать до печки, то отец устроил мне мостик, и когда я готовила, я его приставляла к печке, а после убирала его. Когда соседи приходили проведать маму, она им хвалила мой хлеб и булки, приговаривая, что она, как мать, много горя от меня, малой, набралась, но радости от меня не дожждётся.

И вот осень 1903 года, месяц хешвен, примерно ноябрь. Мать совсем не встаёт с постели. Это уже последние дни её жизни. С ужасом я сейчас вспоминаю то, что было мною тогда пережито. Тяжело было видеть её мучения, расставание с жизнью, с маленькими детьми. До последней минуты жизни она понимала своё и наше положение. Я помню сказанные ею перед смертью золотые, умные слова. Я слушала её с большим вниманием, стиснув зубы, чтобы не разрыдаться, чтобы не пропустить ни одного слова. Я стояла у её постели, и мне казалось, будто она не умира-

---

<sup>1</sup> Слобода Клинцы была основана в 1707 г. беглыми крестьянами-старообрядцами. К началу XX в. Клинцы являлся посадом Сурожского уезда Черниговской губернии. По переписи 1897 г. в Клинцах проживало 12 166 человек, из которых 2605 были евреями. В начале XX в. в посаде было семь крупных фабрик, один завод, до сотни мелких предприятий, три больницы, пять церквей, три синагоги, 16 начальных и средних учебных заведений, в их числе две гимназии и среднетехническое училище. В Клинцах проходила железная дорога, работали дизельная электростанция, почта, телефон, телеграф, театр, два кинематографа, две типографии, народная библиотека, печаталась местная «Клинцовская газета». <http://klincy.narod.ru/chronicler.htm>.

ет, а уезжает куда-то на время. Нас тогда было трое детей. Я самая старшая 11-ти лет, мой брат Абрам, бледный худой мальчик, и годовалый младенец, ещё не отнятый от груди. Привожу немного из ею сказанного, так как всё невозможно написать. К отцу она обратилась с тем, чтобы он после её смерти заменил нам и мать и не обижал нас, когда возьмёт другую жену, так как она понимала, что он женится, ведь ему было всего 38 лет. Ко мне она обратилась с такими словами: «Остаёшься сама маленькая и ещё двое маленьких на твоё воспитание. Пока я жива была, хотя лежала в постели, вы не были сироты, и у вас не было мачехи. Но когда меня не станет, вы уже будете тремя малыми сиротами, и ты старшая у них. Береги их как мать, чтобы они не были голодные и холодные. Знай, что отец у вас — хороший человек, но он мужчина. Он долго мучился с больной женой, и ему нужно будет жениться, так как ему только 38 лет. Он вынужден будет к вам изменить своё отношение к худшему, потому что это потребует его жена, и хотя в душе он будет этим недоволен, всё же он с ней отношения портить не захочет. Ты должна ей во всём беспрекословно подчиниться, потому что за тебя некому заступиться, и если она на тебя рассердится, то это отразится ещё больше на малых детях. Если ты будешь обижена словом или делом, то плачь втихомолку, чтобы люди не услышали, иначе ей передадут, и вам ещё хуже будет. С момента, когда я закрою глаза, вы чужие всему миру. Потому что любят только счастливых детей».

И ещё много поучительного она говорила, но, как я уже сказала, всего не напишешь. И вот у неё кровь хлынула из горла, обливая её саму и постель, и мы с отцом начали её обтирать, и она, бледнея, откинула свою слабую голову на подушку, закрыла глаза, румянец показался на её впалых щеках, и она заснула навсегда. И тут я дала волю своим слезам и моему неизлечимому горю. Это было осенью на рассвете, в 1903 году. День не знаю по-русски, а по-еврейски — 26-й день месяца хешвен. Рыдая, я упала на её постель, пока соседи не зашли и, оторвав меня от постели, не сказали: «Хватит плакать. Прибереги слёзы, ещё наплачешься без матери». И отец также много плакал и, обнимая и целуя нас, приговаривал: «Вы мои бедные сироты, что я с вами буду делать?». Абрам, мой брат, стоял запуганный. Он не понимал, как себя вести. Нас увели из

дома к папиной сестре Лыфше, она жила рядом с нами, это мать Сени Брискера [Брискина]. Её муж был очень плохим человеком. Мы его боялись, а он нас не любил, он вообще никого не любил, он только любил себя, и потому он всю жизнь жил хорошо, и ему сейчас уже 65 лет, а он здоров и свеж. И вот, когда нас к нему привели, он на нас недружелюбно посмотрел. Но мне в то время было всё равно, так мне было не до него. Когда по еврейскому обряду мать приготовили выносить, нас позвали с ней попрощаться, и тут я поняла, что у нас больше нет матери, она к нам больше не вернётся. Отец проводил её на кладбище, а мы остались дома. С этого момента моя жизнь переменялась в корне. Я уже сразу выросла понятием, со мной говорили как с большой, а маленький братишка меня называл мамой, что мне стоило много слёз.

Для оценки своей прошлой жизни опишу немного, что из себя представляла семья отца, в особенности его сестра Лыфша с её мужем Алтером. Мои родители мне о них никогда ничего дурного не говорили. Это было потому, что моя мать была такая покорная женщина и верующая в своего Бога, она верила, что Бог накажет обидчиков и что если Лыфша грешила всю жизнь, то ей потом будет возмездие за плохую жизнь, а когда «потом», я и тогда не понимала и теперь не знаю. У отца был хороший характер, временами вспыльчивый, но обиды он скоро забывал и разговаривал со своими обидчиками как ни в чем не бывало.

Об отношениях отца с его семьёй мне рассказали, когда мать умерла. Как я уже сказала, меня все считали взрослой, и поэтому наши хотимские мне об этом рассказывали, а потом, подрастая, я во всём сама убедилась. У отца не было родной матери. Их было трое, то есть две его старших сестры, Галка 13-ти лет и Сора 11-ти лет, и мой отец 8-ми лет. Однако, как мужчина, он считался у них старшим и покровителем, хотя помочь он им на деле ничем не мог. Мачеха к ним очень плохо относилась, а так как дедушка был очень тихий и к тому же набожный старик, он не мог влиять на жену, чтобы улучшить положение детей. Отца и тетю Хаю-Сору, это мать Адольфа<sup>1</sup>, забрали в местечко Ветке, около Гомеля<sup>2</sup>, к

---

<sup>1</sup> Адольф Гусаков впоследствии женился на сестре дедушки, Симе Медведевой.

<sup>2</sup> Ветка Гомельского уезда Могилёвской губернии.

тёте, и там они жили, пока не стали взрослыми. А Галка, мать Гершела Будянского, кое-как мучилась у мачехи. Не успела она вырасти, как её отдали замуж. Замужем ей очень плохо жилось, и она умерла, не дожив до старости. От новой жены у дедушки родились еще две дочери — Лыфша и Геся. Они жили бедно, как большинство евреев нашего местечка, и это тоже способствовало плохому отношению мачехи к неродным детям, тем более что она была женщиной боевой, с твёрдым и плохим характером. Мачехи обычно внушают своим детям ненависть к сводным братьям и сестрам, ища и находя в них всякие недостатки. Было это и в семье отца. Поэтому, как только дедушка умер, ненависть в семье усилилась из-за незначительного наследства. Отношение к отцу со стороны мачехи было очень жестоким и даже ужасным, я их описывать не хочу, так как их уже всё равно нет в живых. Несмотря на то что мачеха моего отца была родной сестрой моей матери, это не мешало ей издеваться над отцом, а также и над матерью, и нас, детей, она не любила. В результате такой тяжёлой жизни вся семья отца, включая его самого, не дожила до старости. Потом только я поняла, что в преждевременной смерти моих родителей они во многом были виноваты. Об этом не я одна, дочь, говорю, а все наши хотимчане и многие родственники при встрече со мной мне всегда говорили: «Загнали они твоих родных рано в могилу». Казалось бы, к чему это вспоминать, всё равно их не вернешь. Но почему-то хотелось об этом, хоть немного, но написать обязательно. К тому же это сыграло в моей жизни большую роль, о чём я напишу после.

И вот появился Алтер, муж сестры отца Лыфши. Он был *иешиве-бохур*, семинарист высшей еврейской религиозной школы. По-еврейски он был очень образован и даже по-русски много знал. Он был подобен всем другим людям, которые жили и учились за чужой счёт. Такие люди были большими бездельниками и лодырями. Они всегда искали богатую невесту или, по крайней мере, такую жену, чтобы она могла зарабатывать и их, лодырей, кормить всю жизнь. Об этих людях много писал Шолом-Алейхем в своих произведениях. Эти люди вообще ни к чему не были приспособлены, и тем более ни к какой работе. И вот к таким людям относился и мой дядя Алтер. К тому же по природе он был жестоким, замкнутым и

очень злым. Он был очень самолюбив и всегда был уверен, что все люди ему почему-то обязаны. В общем, он прожил такую жизнь, что никому холодной воды не дал напиться, даже своей старухе-матери есть не давал. Зато он себя очень сохранил. Теперь ему уже седьмой десяток, а он еще румяный, бодрый и здоровый. Такие люди всегда сохраняются. Вот этот человек, как только появился у нас, стал прибирать всех к рукам. При этом он воспользовался плохим отношением своей тещи, моей неродной бабушки, к моему отцу. К тому же до женитьбы ему сулили большое приданое, чуть ли не золотые горы, а, женившись, он нашел обратное. Правда, была лавка, которая торговала глиняными горшками, этот товар в то время почти ничего не стоил, к тому же за него, наверное, были должны в несколько раз больше его (товара) цены.

Первое, чем Алтер себя проявил, это отнял у моего отца место в синагоге. Конечно, по моим представлениям, и теперь и прежде, и по мнению многих других людей, ничего особенного в этом не было: «Подумаешь, обида! Место в синагоге взял. Можно и без места ходить в синагогу или совсем не ходить». Но так рассуждают сейчас, в прежние годы это было совсем по-другому. Как я уже писала, отец мой мало сидел на своём месте, так как он любил больше находиться среди беднейшего населения, и поэтому он больше ходил по синагоге. Когда появился зять Алтер, мой отец посадил его на своё место, как брата и гостя. Тот же с первых дней начал присваивать себе отцовское место. Когда отец приходил посидеть, Алтер старался его не замечать, притворялся, что он усердно молится или просто не давал отцу садиться. В результате он заявил, что это место — его, Алтера, приданое, и папа тихонечко, чтобы люди не услышали, отошел. Для моего отца это был большой удар. Главное, это было место его отца, которого он очень любил и уважал как учёного человека. К тому же люди над ним по этому поводу смеялись, говорили, что он не умеет за себя постоять. Многие приглашали его на свои места, но отец не хотел сидеть на чужих местах. Ведь тогда, по еврейскому закону, места в синагоге переходили от отца к сыну, а не к дочери, так как женщины не молятся с мужчинами. С того времени, как зять забрал у отца место в синагоге, тот болтался среди бедняков, и потому, что и раньше любил с ними беседовать, и потому, что

ему негде больше было сидеть. А в то время в синагоге молиться без места — это всё равно что пришел не туда, куда надо. Купить другое место он не имел на что, да и стыдился делать это перед своими знакомыми.

Таким было его, Алтера, начало. Этого одного достаточно, чтобы понять его нутро. Когда я выросла, мне попался роман на еврейском языке, который назывался «Дер шварцер юнгермэн» [«Чёрный молодой человек», идиш. — *М.Б.*]. Там описывалось, как в один дом взяли зятя, а тот понемногу всё и вся прибрал к рукам и всех свёл в могилу, чтобы ему никто не мешал. Герой этой книги очень напоминал мне Алтера, и я над ней пролила много слёз. Эта книга ярко показала мне подлинное лицо Алтера, и его мерзкие дела, и роль, которую он сыграл в жизни нашей семьи. При этом он и сейчас ни в чем не считает себя виновным. После того как он завладел местом в синагоге, ему захотелось просто избавиться от моих родителей и завладеть всем, пусть небольшим, наследством. Он опирался на помощь неродной бабушки, не любившей отца как пасынка, и действовал, не встречая сопротивления моих родителей, злоупотребляя их благородством.

У дедушки было две избы. Они стояли рядом, окнами на улицу. В одной, большей по размеру, жил дедушка со своей семьей, то есть дедушка, бабушка и их дочери Лыфша и Геся. А в маленькой жили мы. Ещё при своей жизни дедушка поделил избы между своей и нашей семьёй, а также поделил прилегающий участок земли. Так как наша избышка была очень маленькая и, как я уже писала, отец умел плотничать, он начал строить во дворе ещё одну избу, немного побольше. Он купил в деревне избу на снос и начал её ставить. Это было зимой, потому что работа в зимнее время дешевле, а летом дороже из-за полевых работ. Хотя отец любил эту работу, но он был занят, и к тому же одну такую работу нельзя было одолеть. Но вот настал час, когда привезли эту избу. Первой выскочила бабушка, а за ней зятьёк и дочки, и начали сыпать проклятиями и ругательствами в адрес моего отца. Никогда не забуду его испуганного лица. «Что вам от меня надо? Я же на свой участок ставлю, а от вашей полосы отступаю, как полагается при стройке». Мать вообще побоялась выйти из дома. Вот началась стройка нашего «дворца девятиаршинного».

Евреи нашего местечка приходили уговаривать ту семью, чтобы они перестали издеваться над отцом. И духовный раввин, который в то время считался почётным лицом среди евреев, приходил с ними беседовать, но всё было впустую. Алтер кричал отцу, что всё его, Алтера, и что если отец хочет строить, то пусть купит участок и строится. Отец уж хотел продать брёвна, купленные для избы, но наши евреи начали его ругать, упрекая его в слабости: «Место в синагоге отдал, а теперь отдаёшь или продаёшь купленную избы, а потом и из твоей избы тебя с семьей выкинут. Видишь, какой у них аппетит: себе всё, тебе ничего. Начинай строиться». И отец начал строить. Как известно, для деревянных построек делают фундамент, кто богатый — каменный, а бедный ставит на деревянные стояки. Выкапывают ямы и ставят столбы, а потом кладут бревна. Дело было зимой, а у нас морозы начинаются с ноября, и к середине зимы земля очень глубоко промерзает, даже вода в глубоких колодцах промерзает. Избу строить начали как раз в это время, а дни были короткие, копать ямы лопатой было невозможно, приходилось топорами и ломом; таким образом, за день не успевали поставить ни одного столба. Этим пользовался Алтер, и как только рабочие уходили, он наливал воду в яму, к утру она промерзала, и опять нужно было долбить сначала, и не могли придумать, что делать.

Отец был в отчаянии. Мать со слезами просила оставить всё это, объясняя и так понимавшему всё отцу, что мы бедны, и все тряпки заложены, и что зря платят людям за работу. Денег ушло много, промучились долго, а ничего не было сделано.

Тогда отец решил дежурить. Дежурство было непростое, с 4-х дня до 8-ми утра. 16 часов надо было простоять в плохой одежде в сильный мороз, а потом целый день заниматься с детьми. И только этим он вышел из своего безвыходного положения. Сама семья, без этого бессовестного Алтера, даже с их плохими характерами и ненавистью к отцу, так бы себя не вела, так как они стеснялись других людей. Но при Алтере они плясали под его дудку. С моей стороны очень нечестно, что я об это пишу, но я надеюсь, что об этом никто не узнает<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Бабушка, конечно же, пишет для того, чтобы потомки прочли.



Прошло немного времени, и Лыфша как преданная жена переняла его вредный характер так, что они стали равны. Нищему они никогда не подавали, что в местечке считалось позором. Они жили замкнуто, как ужи, так их и называли. Их никто не любил, даже ненавидели.

Если посторонний прочёл бы эти строки, то, возможно, удивился бы, почему я придаю такое значение этим вещам. Однако, будучи всему этому свидетелем, без ужаса вспоминать о них не могу. Разве возможно описать все его мерзкие дела по отношению к моим родителям? Человек решил всем завладеть и убрать всех с дороги. И он этого добился. Ежедневно придумывал новые и новые травли, так что наконец отец решил уехать, где-нибудь устроиться и забрать туда свою семью. И он уехал, но без денег и ремесла, при больной жене он был вынужден вернуться.

Тем временем Алтер начал вести войну со старухой и с тётей Гесей. Бабушку выпроводил к старшей дочери, а сам начал издеваться над тётей Гесей, часто избивал её. Неоднократно она прибегала к нам прятаться от его побоев, пока и эту выпроводил в Клинцы к сестре. Тут случилось несчастье: умерла тётя Блюма, сестра Геси, и её муж, ныне мой дядя Белкин, остался богатым вдовцом с двумя детьми. А тётю Гесе тогда только исполнилось 18 лет. Тут Алтер пустил в ход всё своё умение, прилетел в Клинцы и начал настаивать, чтобы тётю Гесю выдали замуж за Белкина. Не помогли её протесты, что она не хочет выходить за старика и вдовца её сестры. Тетя Геся была красавица. Тогда Алтер взял в помощь бабушку, пригрозив ей, что он её к себе не возьмет, а тётю Гесю не пустит и на порог, и он своего добился. Тётю Гесю выдали за Белкина, а Алтер этим убил двух зайцев: избавился от двух наследников, бабушки и тёти, и обеспечил себе в будущем помощь богатой родственницы Геси, и так оно и было, ведь он привык, чтобы его содержали.

Несмотря на их, сводных сестер, издевательство над собой, отец им всё прощал, жалел и искренне любил их, как и подобает честному брату. Когда отец узнал, что тётю, помимо её воли, выдают замуж, он, хоть и хорошо относился к дяде, очень об этом жалел.

В конце концов моих родителей преждевременно сжили со свету, а мы, маленькие, остались круглыми сиротами. Разве можно описать всё, что мы пережили, пока выросли? Всем и всюду мы были чужие и лишние; никто о нас думать не хотел, и моя душа к ним не лежала. Однако тётя Геся, выйдя замуж, изменилась и стала хорошим человеком, чуткой и отзывчивой. По-видимому, это случилось потому, что сам дядя был хорошим человеком с открытой душой, любил всем помогать и к тому же был состоятельным. Может, это на неё повлияло, и она меня к себе взяла, а я, как затравленный зверёк, не имея другого выхода, к ней пошла. Её отношение ко мне было часто заботливым, и мне было бы совсем неплохо, если бы не её мать, которая боялась, чтобы это не отразилось на помощи Лыфше, и это немного мешало. Я постепенно стала привыкать к тётке и пришла к заключению, что в её прежнем плохом отношении к отцу она совсем не была виновата. Малоопытная провинциальная молодая девушка была под влиянием злой старухи — своей матери и во власти Алтера, который угрожал выгнать её на улицу. Ей я всё давно простила, но Лыфше и Алтеру не простила и не прощу... Я уверена, что если бы они могли, они бы и сейчас вредили нам. Достаточно сказать, что у Алтера жила его старуха-мать, и он ей есть не давал, и её соседи кормили. Даже к своим детям они относились безразлично, не хотели дать им образование, но благодаря их интересу к учёбе кое-кто из них всё же получил образование... Эти люди, Алтер и его жена Лыфша, жестокие и деспоты. Их даже советская власть не исправила за 22 года, из чего можно заключить, что они такими и останутся...

И вот, когда не стало у меня матери, то, улучив минуту, когда дома никого не было, я вытащила свои куклы и как будто перед живыми, плача, я рассказала им своё горе. Я сказала, что я больше в куклы не играю, так как я же большая, и мой маленький братишка называет меня мамой. Затем я завернула все куклы и отдала их своей подруге.

Действительно, я сразу стала большая, не летами, не ростом, а понятием. Моя жизнь сразу изменилась. От учёбы я отошла, так как нужно было обслуживать семью. Я прекратила заниматься в хедере и учиться древнееврейскому языку. Я и занятия русским

языком временно прекратила, но, успокоившись, я за русский опять взялась, и только за книжкой я забывала обо всём, что меня терзало.

Тут знакомые отца начали уговаривать его жениться, доказывая ему, что мне станет легче, когда в доме появится женщина постарше. Я, конечно, сразу всё поняла и очень боялась новой мамы. Отец, правда, не хотел вторично жениться, тем более что он был научен собственным горьким опытом, ведь он сам восемь лет переносил жестокости своей мачехи. Наконец его уговорили, и он решил жениться не на такой, которая ему понравится, а на такой, которая будет к нам хорошо относиться, так как он считал, что вторую такую жену, как была, он всё равно не найдет. Ему высватали мать моей [двоюродной? — *М.Б.*] сестры Мейты, и через пять месяцев к нам приехала новая мама.

Помню всё как теперь. Перед её приездом квартиру отремонтировали, выбросили мамину мебель, заменив её новой. Каждый шаг в доме соответствовал предсказаниям моей покойной матери, и от этого мне было ещё тяжелей. Настал день перед Пасхой, когда отец поехал жениться и привезти домой новую жену. Так как мы были малы, он попросил свою тётю побыть с нами это время. Нас было трое, ещё у нас жил мальчик из деревни и ночевали Фаня Бурштейн и Доба Гусакова. Из-за суматохи я сильно простудилась и очень кашляла, так сильно, что ходить не могла. Ночью они приехали. Смотрю, заходит в дом пожилая некрасивая, хромая женщина со злым взглядом, а я так кашляла, не переставая, что не поздоровалась. Она же, не обращая внимания на мой кашель, бесцеремонно начала считать детей. наших было трое и чужих трое — получалось шесть детей. Она тогда спрашивает отца: «Ты сказал, что у тебя трое детей, а почему шестеро?». Отец успокоил её, сказав, что трое не наши, но она не могла успокоиться, пока утром те не ушли домой.

Опять в моей жизни произошла перемена, надо было угодить новой мамаше и защитить младших братьев. Понемногу отец стал со мной меньше разговаривать. Как я потом узнала, это произошло потому, что она ему сделала выговор, что он слишком к нам мягок и что, по её мнению, мы очень плохие дети, что он к нам более внимателен, чем к ней. Отец стал очень угрюм, раздра-

жителен. Он понял, что ошибся, что взял и не подругу, и не мать, и не работницу по дому. Она ровным счётом ничего не хотела делать. Отец превратился в подносчика с рынка, а в то время не было принято, чтобы мужчины ходили на рынок, и все над ним смеялись. Вместо того чтобы стать легче, моё положение стало много хуже, я болела душой за себя и за отца и за малых детей. Если раньше я могла кормить детей, когда они хотели кушать, то теперь — когда она скажет. Конечно, её положение было не самым лучшим, поскольку мы были бедны, но мы-то были тут ни при чем. Она это, по-моему, и раньше (до выхода замуж) знала. Началось запираение еды. Боже! От кого? Если был крохотный ребёнок, она должна была сама позаботиться о нём, а не прятать, чтобы я его не могла накормить.

В нашем местечке жила семья Лейтоша; они были родственниками моей матери. Семья была приличная. У них было четыре дочери, самая младшая была моего возраста. Жили они материально хорошо. Эта семья была единственным моим утешением. У них я выплакивала моё горе. Однажды, в скорости после появления у нас новой мамы, я случайно нашла адресованное ей письмо от её сестры Хоны, написанное, по-видимому, в ответ на письмо мачехи, в котором она жаловалась на нас. Привожу несколько советов Хоны: «Смотри, всё запирай от детей, иначе тебе ничего не достанется. Держи их крепко в руках. Дай им почувствовать, что ты хозяйка». И она это сразу привела в исполнение. Ещё один хороший эпизод. Приезжает её мать, высокая худая женщина, похожая на ведьму, и тут же начинает воевать с нами, беспомощными детьми. Помню хорошо, как в пятницу вечером отец пришёл из синагоги, и мы сели ужинать. До ужина ребёнок [младший брат Давид] просил кушать, но старуха не разрешала его накормить раньше других, и не успели мы сесть за стол, как он уснул голодным. Так как он уснул у меня на руках, я попробовала разбудить его, но он не просыпался. Тогда я вышла из-за стола и понесла его укладывать спать, но поскольку моё маленькое сердце было переполнено горем, и мне было жалко ребенка, что он уснул без ужина, то из моих глаз, помимо воли, брызнули слёзы. Возвратившись к столу, я уже есть не хотела, ибо я насытилась горем, и, как я ни старалась утереть слёзы, всё-таки старая ведьма заметила их

и набросилась на меня, говоря, что я стою того, чтобы меня избивали ежедневно, что отец молится на нас, и начала требовать, чтобы он нас стал наказывать. Возмущённый отец ответил, что мы и так наказаны тем, что мы сироты. Мой брат Абрам, которому исполнилось 9 лет, испугался и полез под стол, а я пошла к ребёнку и, обняв его сонного, всю ночь проплакала, призывая всё святое на помощь и свою покойную мать, чтобы она нас приняла к себе, так как без неё всё равно не жизнь.

Назавтра, в субботу, улучив момент, когда отец был один, я заговорила с ним. Я давно хотела с ним поговорить, почему он молчит в ответ на издевательства над нами, но всё его жалела, но здесь чаша уже была переполненной. И я заговорила, и не понимаю, откуда у меня взялся тогда ум.

Умные люди говорят, что ум у человека появляется с его горем. Чем больше горя, тем больше ума. А я того придерживаюсь, что пусть меньше ума и меньше горя. Я спросила отца, долго ли он будет молчать в ответ на издевательства над нами со стороны мачехи и, вдобавок, её матери. Ответ был таков, что нашу мать из могилы он поднять не может и что кого он ни возьмет, та будет нам чужая, а ссориться с женой и таким образом давать людям повод над собой смеяться, он не намерен. Я поняла тут всю безвыходность нашего положения.

Хорошо, что отец нас никогда не бил, когда они его учили бить нас. Я понимала, что отцу тяжело. Он попал под двойной удар. В присутствии мачехи он почти с нами не разговаривал, боялся восстановить её гнев против нас. Однажды наш маленький мальчик порезал головку стеклом. Я очень испугалась и позвала отца. Когда отец увидел окровавленного ребенка, он схватил его и закричал: «Мой бедный сирота, когда ты перестанешь мучиться?». И мы все заплакали от этих трогательных слов, и больше от того, что папа всё ещё нас любит. Так шла наша жизнь, один день хуже другого.

От уроков русского языка пришлось отказаться, так как новая мамаша заявила, что она не в состоянии за меня платить. Не могло то, что отец сказал, что у меня хорошие способности, она категорически протестовала и отказала учителю. Одна девушка, Малкина, которая тоже давала уроки русского языка, взялась

учить меня бесплатно, когда узнала, что мачеха отказалась за меня платить. Но мачеха всё равно не давала мне учить уроки. Пришлось учить их на чердаке и во дворе за дровами, и каждый раз выдумывать новые места, где их делать, чтобы она меня не обнаружила. Учебниками меня поддерживали, но однажды мне потребовался учебник, который я не могла достать. Я его никогда не забуду; это была русская история Иловайского. Отец потихоньку купил её мне, и я её все время прятала. Однажды мачеха обнаружила книгу и начала скандалить с отцом, почему он на меня деньги тратит. Что, он хочет образованную дочку? Ничего, если она будет портнихой. Эта книга сыграла огромную роль в моей жизни, тогда прекратилась моя учёба. Я и теперь вспоминаю об этом случае с болью в душе, так он загубил всю мою жизнь. Если бы я получила образование, то моя жизнь была бы значимее и мне было бы легче жить и воспитывать своих детей.

Лето 1904 года. Всё идет по-прежнему. Отец занимается с ребятами, новая мама установила в доме свои порядки. Мы, дети, тесней прижимаемся друг к другу. Глотаем втихомолку слёзы.

В один вечер, наплакавшись, я легла спать без ужина, что случалось очень часто. Сплю, и снится мне, будто мать, как живая, встала передо мной, будит меня и говорит: «Не плачь. Я, когда была жива, всё повторяла тебе: “Береги себя и детей”. Видишь, даже отец вам помочь не может». Как сейчас я помню этот сон. Передо мной стояла моя мать живая, и я крикнула во сне: «Мама!», хотела броситься к ней и тут же проснулась. Около меня стоял отец. По-видимому, я разбудила его своим криком. Задыхаясь от слёз, я не могла ответить на его вопрос, что мне снилось. Мачеха ворчала в своей постели, недовольная, что ни днем, ни ночью от нас нет покоя. Единственным моим утешением было пойти на могилу матери, выплакаться хорошенько, и после этого мне становилось легче на душе.

У отца был двоюродный брат Иосиф-Ича Слуцкер. Он неоднократно приходил заступаться за нас. Он пробовал и по-хорошему поговорить с мачехой, и пробовал ссориться, потому что он нас очень любил. Но всё было бесполезно. Я не смела подойти к шкафу, несмотря на то, что шкаф был привезён моей матерью.

Не верилось, что такая жалкая на вид женщина держала верх над всеми, но это было именно так.

При жизни матери я никому не завидовала, но после её смерти я только завидовала тем, у кого есть мать. Я очень сердилась на тех детей, которые не слушались своих матерей, волновали их. Вот если бы у меня была мать, я бы её жалела и во всём слушалась.

Летом 1904 года мачеха уехала в гости к своим родственникам в город Стародуб<sup>1</sup> и там нажаловалась на нас, что мы ей житья не даём. Тогда они решили забрать туда отца, а нас оставить одних в Хотимске. Отец уехал и пустил к нам квартиранта с семьёй. Я уже писала, что наша изба была перегорожена на три части: спальня, комната и кухня. Жильцы, конечно, заняли спальню, а обедали в комнате, где по договору мы должны были спать. Так как у них была большая семья, малые дети, а он (глава семьи) был мясником, то мы не имели возможности спать, потому что они рано вставали и поздно ложились и к тому же всё время всюду находились, и нам было очень плохо, в особенности меньший братишка всё плакал, что не высыпается.

Настали осенние еврейские праздники, а мы всё одни. В это время приезжает одна женщина из деревни моей матери и пересказывает, что мой дедушка, отец матери, он тогда был жив, просит меня к себе на праздники и что я могу ехать на подводе, которая её привезла. Так как братишку не на кого было оставить, я его взяла с собой, а Абрама я оставила дома одного, на произвол судьбы. Страшно обо всём этом вспоминать.

Приехала я в деревню к дедушке. Дедушка был очень стар и жил со своим семейным сыном, дядей Яковом Медведевым. О смерти матери дедушка не знал, и меня предупредили, чтобы я ему об этом не говорила (как я потом поняла, они боялись, что дедушка нам материально поможет). Нас в гости никто не ждал; по-видимому, та женщина сама хотела, чтобы мы съездили к дедушке, потому что нам одним плохо жилось. Оказалось, что мы приехали совсем некстати. Так как они были набожные и у них в деревне не было синагоги, то по большим праздникам они ездили в недалёкое большое село или местечко, где было больше

---

<sup>1</sup> Уездный город в Черниговской области.

евреев и где можно было молиться. Так как они все выезжали на праздники, то им пришлось и нас с собой возить, что доставляло им лишнюю работу. Вот отпраздновали Новый год, близится пост Йом Кипур. Похолодало. Мы легко одеты. Нужно нас отправить домой, но нет подвода. Да и куда домой? Кто у нас дома? Ждут ли нас? И вот идёт подвода в Клинцы, и мой дядька, недолго думая, отправляет нас с ней в Клинцы, не позаботившись даже укрыть от холода. А ведь была уже осень.

В Клинцах жил брат моей матери Израиль Медведев. (Это дедушка Веньки и Дуськи, и Оси, и Левы.) В то время он был богат. Меня не спросили, хочу ли я ехать туда, потому что я не хотела ни за что к нему ехать, зная, как он обращался со своей больной сестрой — моей матерью. Мать говорила, что он очень скупой и не любит бедных родственников. Тем не менее, не спрашивая меня, нас туда отправили. Они считали, что нам оттуда будет легче найти подводу домой, так как из Клинцов в Хотимск часто возят разные товары. Мы уехали из деревни дедушки вечером. По дороге начался мелкий холодный дождь. Ехали всю ночь, промокли, озябли, ребёнок плакал от холода. Утром приехали. Крестьянин подвёз нас к дому моего дядьки. Поскольку он не знал дядьку, то сам открыл ворота и въехал во двор. Вышел сам дядька и спрашивает слащаво: «Что это за дети, что ты ко мне привёз?». «Это сироты твоей младшей сестры Рохли», — так крестьяне звали мою покойную мать. «Так зачем ты их ко мне привёз?» — спрашивает дядька. «Ты, Веньяминович, сними их с воза, обогрей и покорми, они голодные и мокрые, — говорит возчик, — а потом ты будешь расспрашивать. Видишь, озябли бедняжки совсем. Они, видишь ты, гостили у дедушки, — продолжает, — и не могли найти подводу свезти их в Хотимск, а я сюда ехал, вот Янкель и попросил: “Вези, — говорит, — в Клинцы. Им оттуда легче будет домой попасть”. Так я и повёз. Ночь была мокрая, холодная, и я их укрывал своим чекменём, но они, горемычные, всё же озябли», — продолжает возчик. А дядька стоит на крыльце, гладит бороду и говорит, обращаясь к возчику по имени: «У меня некуда их деть, а вот есть у них тут тётка, сестра их отца. Они живут недалеко, вези их туда». Это он имел в виду тётю Гесю, о которой я даже в то время и не думала. Я знала только, что она моих родителей не



любила и что она недавно вышла замуж. Если этот богач, родной брат моей мамы, имея такие хоромы и малую семью, не подошёл к нам спросить, голодны ли мы, стоял хуже чужого, то что сделает тётя, неродная сестра моего отца, которая его не любила? Я и теперь вспоминаю и заливаюсь горькими слезами. Разве можно себе представить худшее положение? Быть в чужом незнакомом городе, ещё с ребенком и без гроша. Раздетая, на дожде, осень, никому не нужная, всеми брошенная. Кто мне создал это безвыходное страшное положение? Новая мама, она забрала у нас отца, который должен был заменить нам мать.

Возчик, возмущённый отношением к нам дядьки, снял перед ним шапку и, умоляя, ему говорил: «Веньяминович! Побойся Бога! У вас завтра большой еврейский пост, Судный день. Что ты будешь поститься перед Богом, когда ты малых сирот, детей своей сестры прогнал?». Но дядька стоял непоколебим и говорит возчику: «На тебе на сотку водки гривенник и вези их к тётке». И протянул возчику адрес с гривенником. Возмущённый возчик гривенник ему бросил, взял адрес и выехал со двора вдоль большой улицы по мостовой, ведя лошадь за повод, всё возмущаясь и рассуждая сам с собой. Вдруг он остановил лошадь, повернулся к нам и говорит: «А вдруг там не примут, что я тогда с вами буду делать?». Тут мой братишка громко заплакал, и возчик растерянно, как виноватый, говорит: «Не плачь, что-нибудь придумаю, на улице не брошу. Это богатый дядька испугался бедных сирот, а я сам бедный и бедных не боюсь».

И вот мы приехали к тёте Гесе Белкиной. Дома у них, кроме прислуги, никого не было. Была еврейская прислуга, молодая, черненькая. Возчик ей рассказал, что мы племянники хозяйки и что мы замёрзшие и голодные сироты, и она нас радушно приняла. Возчик был рад, что наконец-то избавился от нас. И скоро уехал. Злата, так звали кухарку тёти, нас накормила и отогрела, заботливо, как родная. Явились тётя, дядя, неродная бабушка. Пошли расспросы, откуда мы, как и что. Тётя даже обрадовалась будто бы нашему приезду. Дядя очень тепло встретил моего братишку, так как он был большой красавец и исключительно умный ребёнок. После встречи дядьки Израиля мне это казалось волшебным сном, и я боялась проснуться, чтобы всего этого не лишиться.

После того как я ей рассказала, как мы к ней попали, тётя сказала, что хорошо, что мы поехали через Клинцы, что она нас хотела видеть. О том, что мы заезжали к дяде Израилю, я ей не рассказала, боялась, что и она нас прогонит. Тётя заботливо нас помыла, передела в сухое и уложила спать. Она сказала, что спешить некуда, что когда попадётся хорошая подвода и погода будет хорошая, тогда она нас отправит домой. В это время мой дядька Израиль, зная, что поступил с нами подло и боясь, что я расскажу об этом тёте, а она тогда занимала высокое положение, и он боялся, что это отразится на его делах, решил хитростью опередить меня и этим самым избежать гнева тёти Геси. Вечером того же дня он прислал свою жену с дочкой будто бы в гости, но попутно узнать, не сердится ли на него тётя за его подлый поступок. Но тётя, ничего не подозревая, рассказывает им о нашем приезде и при этом расхваливает нас, в особенности моего братишку, и тут же заходит ко мне и говорит: «Пришли твоя тётя с дочкой. Иди поздоровайся, они тебя хотят видеть». Но я отказалась, заявив, что мне неудобно с ними встретиться, так как я плохо одета.

Тётя, ничего не подозревая, ушла, удовлетворенная моим ответом. И они ушли. Назавтра приходит сам дядя с его приторной улыбочкой, каким я его увидела из щели дверей своей комнаты. Тётя с ним здоровается и спрашивает: «Хотите видеть детей Вашей покойной сестры?». Он, торжественно: «Конечно!». Тётя заходит ко мне говорит: «Пришел твой дядя, Израиль, специально вас повидать. Выйдите к нему». Я ответила, что я не пойду, и назвала ту же причину. Тётя начала настаивать, что это мужчина не чужой и что стесняться нечего. «В конце концов, он же брат твоей матери, и если он увидит, что ты не одета, он тебе поможет одеться, ведь он же богат». Что мне было делать? Рассердить тётю? За что? И не найдя выхода из положения, я заплакала. На тётин вопрос, почему я плачу и не иду встретиться с дядькой, я не находила ответа, так как открыть ей его поступок боялась. Но тётя поняла, что настаивать бесполезно и что тут кроется глубокая тайна.

Она решила оставить меня в покое. Выйдя к дяде, она заявила, что я почему-то плачу и не хочу выходить к нему, и добавила, что я, по-видимому, стесняюсь своей одежды.

Когда дядя ушел, тётя зашла сразу ко мне и сказала: «Я понимаю, что ты от меня скрываешь что-то очень важное. Не бойся и расскажи всё». Я, не находя больше причин для оправдания своего поведения, вынуждена была рассказать всю правду. Когда я рассказывала, я увидела, что моя боязнь быть выгнанной из тётиного дома была напрасной. Чем я больше рассказывала, тем она становилась серьезней. От возмущения у неё менялся цвет лица. Обращаясь с гневом и слезами к бабушке, она сказала: «Значит, он меня любит только потому, что я богатая. Будь я в их положении, он бы меня и на порог не пустил. С этих пор я ему чужая!». И, обращаясь ко мне, ласково добавила: «Я понимаю. Ты боялась рассказать, чтобы я так же не поступила. Я твою обиду ему не прощу, пока он не раскается». Утешая меня, она сказала: «Не плачь. Вырастешь большая, выйдешь замуж, будешь жить лучше, чем его дети, и забудешь об этом».

Тётя сдержала свое слово. Она долго не имела с ним ничего общего, только на следующий день зашла к его дочери, Хеве Локшиной, в лавку и сделала ей хороший выговор, сказав, что человек не знает, что с ним случится завтра и что «эрев Иом Киппур» [в канун Судного дня. — М.Б.] люди делают много добра, чтобы покрыть свои грехи, а они не побоялись ни Бога, ни людей и выгнали голодных сирот на улицу; а эти сироты ещё, может быть, со временем будут жить лучше, чем они.

С тех пор тётя стала для меня близкой. Своей маленькой головкой я поняла, что она стала другой и что изменила ко мне своё прежнее отношение. Нашёлся в мире единственный человек, который нас пожалел и приютил, хоть ненадолго.

Вскоре нас отправили домой. А кто и что ждало нас дома? Ведь там никого не было. Они нас хорошо отправили, с хорошей подводой, хорошо одели и дали с собой и еду, и питье, и денег на дорогу. После смерти матери это был первый случай, когда ко мне ласково отнеслись. Можно представить, каково мне пришлось тогда, если даже сейчас слёзы мешают мне об этом писать.

Дома меня ждало мало утешительного, но мы были рады, что вернулись в свой угол. Как я уже писала, у нас в доме жила семья мясника Добина. К нам, правда, он относился с жалостью, но и с хитростью. Так, например, поскольку они часто угощали чем-

нибудь моих братишек, мне неудобно было оставаться в долгу, и я им помогала по хозяйству. Постепенно это вошло в привычку, и таким образом, в возрасте всего лишь двенадцати лет от роду я обслуживала и своих братьев, и большую чужую семью.

Настала суровая зима. Наши жильцы возвращались поздно из бойни или из поездки, а мы спали в проходной, общей комнате, поэтому весь холод с улицы приносился к нам. От этого мой меньший братишка заболел дифтеритом, и мне, такой малой, пришлось за ним ухаживать. Я заставляла его дышать паром из специального самоварчика и сама сидела с ним под простыней. Я делала всё, что велел врач, дабы его спасти. Когда он засыпал, я бегала к матери на могилу и жаловалась, плача, на нашу жизнь и на то, что мы всеми брошены. Брата Абрама я на это время определила к бедной, доброй старухе, а сама ухаживала за младшим и не заразилась от него.

Так прошла зима и Пасха. В это время я получила письмо от отца, что по настоянию семьи новой матери он решил продать избу, а нас забрать к себе и что мы все будем жить у её родных. Несмотря на свой малый возраст, я поняла, что здесь мы имели одну мачеху, а там их целая толпа. Я воспротивилась и настаивала на том, чтобы если уж ехать, то куда-нибудь в другой город, так как иначе они бы съели нас живыми. Однако другого места, где бы свой человек помог отцу устроиться, не было.

Я помню, как сейчас, что написала отцу письмо, и он меня послушал. Приведу краткое содержание своего письма. Напомнила ему, что мы несчастные, малые сироты, лишились матери из-за злой судьбы, что из-за мачехи мы лишились и отца, который оставил нас одних, необеспеченных, на такое длительное время, а теперь хочет лишить нас своего угла и перевезти к мачехе, которая нас быстро разгонит по всему свету с сумой на плечах. Я тогда не защищала себя, так как всюду нашла бы себе место. Но братишки мои, крошки! Их мне было очень жаль. Короче, к весне отец с мачехой вернулись домой, и отец опять принялся за свой хедер. Это была весна 1905 года.

Настало лето, мой братишка Абрам заболел скарлатиной, и врач велел убрать нас из дому. Так как отец был дома, то он за ним ухаживал. Меня с младшим братом определили к той бедной

старушке, куда я прежде определила Аврама на время болезни младшего братика. Мы пожили там недолго, старуха серьёзно заболела, и нам пришлось искать другое место. В это время приезжает балаголе (еврейский извозчик) из местечка Шумячи; там жил брат моей матери по имени Абрам. Говорили, что он добрый, потому что, когда он узнал, что мать больна, он забрал её к себе, и она у него жила два месяца. Вернулась она от него почти здоровой и очень хвалила его и его семью. Отец решил нас отправить к нему. Дядя жил не в самих Шумячах, а где-то около, в хуторе Краснополье, в чьём-то имении. Он там был не то приказчиком, ну то управляющим (я этих вещей тогда не понимала), а может и арендатором.

Нас приняли хорошо. Я боялась сказать правду, почему мы приехали, чтобы нас не отправили назад. Я сказала, что мы приехали в гости. Я рассчитывала остаться у них на время болезни Аврама, примерно на месяц. Хоромы были старые, большие, со сломанным балконом — самая настоящая полуразрушенная барская усадьба. Большой фруктовый сад. Далеко от деревни. В то время у них гостила семья дяди Израиля — того дядьки, что не пустил нас к себе в дом: тетя Роха с дочкой Сарой и сыном Азриэлем. К ним было больше внимания, чем к нам, но я тогда с такими мелочами не считалась.

Прожив месяц, мы вернулись домой. Там я застала Аврама в тяжёлом состоянии; его простудили, и у него было воспаление почек. Когда я на него взглянула, я испугалась: он был такой толстый, то есть опухший, что трудно описать. Он так обрадовался, когда меня увидел, что заплакал и сказал: «Я чуть не умер. Так, конечно, было бы лучше, но только тебя жалко». И мы оба заплакали. Вошел отец и сказал, что нам ещё нельзя около него находиться и что нам сделал приют на чердаке. Брату отец делал ванны, и тот поправился.

Тогда отец решил отправить меня в Клинцы к тётке Гесе Белкиной. Он мне сказал: «Может быть, они тебя учиться определят. Они богачи. Что им стоит учить тебя, и ты станешь человеком». Отец справил мне кое-что из одежды, даже зимнее пальто справил, так как был уверен, что я там пробуду долго. Приехав туда незваной, я не скоро успокоилась, всё вспоминала, как плакали

братья, когда я уезжала. Бабушка была недовольна моим приездом, она боялась, что её другой дочке, Лыфше, из-за меня будет оказываться меньше внимания.

Тёте некогда было обо мне думать, и я болталась без дела. В это время из Новозыбкова в Клинцы приезжает родственница и говорит мне: «Что ты будешь болтаться без дела? Ты уже не маленькая. В Новозыбкове живет брат твоей матери. Он добрый человек, живет хорошо и тебя куда-нибудь определит».

И вот я уехала к Исааку Медведеву. У них была большая семья, три дочери и три сына. Меня неплохо приняли, детям я понравилась, но дядя был всё время очень занят или не хотел спрашивать, зачем я приехала. Тогда я сама заговорила и сказала, что хочу учиться. Дядя ответил, что я бедна и что это невозможно. Вот разве если учить меня ремеслу, то, пожалуйста, он поможет. У них во дворе была большая чулочная мастерская, в ней работало много девушек на круглых машинах. Я часто подходила к окну, и мне нравилось смотреть, как они весело работают и разные песни поют. Я стала проситься, чтобы они меня взяли к себе. Они мне ответили, что эти машины не их, что есть хозяин и что мой дядя должен с ним поговорить. Хозяином был некий Нейштадт, который жил там же. Когда я обратилась к дяде, он сказал, что эти девушки испорченные, что они поют плохие песни. Потом я узнала, что они пели революционные песни, запрещённые властью. В конце концов я поняла, что причина не в этом, а просто он не хочет брать на себя обузу.

Пришлось мне вернуться обратно в Клинцы к тётке Гесе. Там, конечно, не плакали о моём отъезде, а здесь не радовались моему приезду, потому что я всюду была лишняя, ненужная обуза. Несмотря на мой маленький жизненный опыт, я это хорошо понимала.

Я вернулась в Клинцы к тётке в начале августа. Счастливая девтора суежилась о предстоящей учебе, то есть о начале учебного года. Стоя у калитки, я с завистью на них смотрела. В то время я ничему не завидовала, кроме учёбы и ранца с книгами. У меня опять загорелось желание учиться. Рядом с тёткой жил Минкин. У него была дочка Лиза примерно моего возраста. Она училась в гимназии, перешла в пятый класс. Мы быстро познакомились,

и я узнала, что она примерно знает в учёбе столько же, сколько я. Обрадованная своим открытием, я ей сказала, что тоже хочу учиться в гимназии. Одно это слово вселяло в меня непонятное блаженство, а тем более мечта учиться там, быть наравне с другими детьми, носить за спиной ранец с книгами, носить форму, а главное — быть образованной. И я стала усиленно заниматься, повторять то, что я уже и так достаточно знала.

Когда приблизилось время экзаменов, я у неё стала расспрашивать, как мне поступить и к кому обратиться. Тут она расхохоталась и с иронией сказала: «Таких, как ты, в гимназию на порог не пустят». Та обида осталась у меня в душе навсегда. Я не поняла тогда, почему она так надо мной смеялась. И я решила сама пойти в гимназию и узнать, как и что. Когда я пришла, то стоявший на дверях швейцар тут же сообщил мне, что экзаменов для экстернов (так звали тех, кто учился заочно) не будет, а евреев больше к приему в гимназию допускать не будут, так как процент уже набран.

Я вернулась домой и, не решаясь заговорить об этом с тётёй, заговорила с бабушкой, чтобы она попросила тётю и дядю определить меня учиться. Но бабушка и так боялась, что тётя истратит на меня все своё состояние, поэтому она мне твёрдо и решительно сказала: «Выбей себе из головы учёбу. Ты не дочка Минкина или Белкина. Ты — бедная сирота, и тётя решила отдать тебя к портнихе, чтобы ты смогла заработать себе на кусок хлеба». Тут я поняла, что моей учёбе конец, и, будучи не в состоянии сдержать слёзы, выбежала из комнаты.

Как бабушка сказала, так и было. Через несколько дней меня отдали на учёбу к портнихе Саше. У неё была чуть ли не дюжина учениц и две мастерицы, старшая и младшая. Нашей учёбой никто не занимался. Она сама была вдовой и имела на своём иждивении двух сыновей и одну дочку. Старший сын был медником у кустика, младший — приказчиком в магазине, а дочка училась в гимназии. Мы, ученицы, должны были готовить утюги и делать всё по хозяйству, даже мыть полы, бегать на посылках. Только учиться шить нам не давали. Мы, ученицы, дружили между собой. Старшая мастерица хорошо к нам относилась и украдкой от хозяйки давала чего-нибудь шить и показывала как. Но скоро она

от нас ушла, и осталась одна мастерица — клинцовская девушка по имени Рива Красновская<sup>1</sup>. Мы её не любили. Потому что она подлизывалась к хозяйке и сплетничала ей на нас.

Освоившись в новой обстановке и познакомившись с хозяйской дочкой, я её спросила, как она учится и как она туда поступила. Этот вопрос всё мне покоя не давал. Она мне объяснила, что наш царь и правители не любят евреев и что их очень притесняют во всём. В учебные заведения принимают только по 5–10 %. Но попадают туда только богатые. Они даже могут сдать экзамены на все двойки и могут потом плохо учиться, всё же их не прогонят<sup>2</sup>. А она сама учится, потому что её мама шьет даром хозяйину гимназии. Тут я поняла, почему надо мной смеялась дочка Минкина — потому, что её отец был богатым рыбным складчиком [владельцем рыбного склада. — *М.Б.*]. Я поняла, что учёба от меня ушла навсегда, так как богатой мне никогда не быть, а если у меня и есть богатые родственники, то они обо мне и думать не хотят, даже при встрече стараются меня не замечать, чтобы я их не скомпрометировала своим видом. Я своих родственников никогда не вспоминаю, и мои дети о них почти ничего не знают. А зачем им это? Ведь они только пожалели бы, что их родственники такие.

Сентябрь прошёл. Начался месяц октябрь. Вспыхнули забастовки. К нам пришли несколько человек и сказали: «Товарищи! Все рабочие всех фабрик нашего города бастуют. Мы, портные, должны в знак солидарности с ними также бросить работу. И потому мы просим вас бросить работу и идти домой. Наши требования экономические. Когда их удовлетворят, мы приступим к работе». Мы не понимали, что это такое, но спросили: «Вот мы — ученицы. Нам не платят, а мы платим за учёбу. Как нам быть?». Нам ответили, что мы приравнены ко всем рабочим, так как с помощью учеников хозяин может отказать рабочим. Услышав такой ответ, мы торжественно ушли домой.

---

<sup>1</sup> Видимо, это та же Красновская, которая участвовала позже в большевистском подполье. См. ниже.

<sup>2</sup> В июле 1897 г. циркуляром министра просвещения была установлена процентная норма для приема евреев в подведомственные ему высшие и средние учебные заведения (включая гимназии) в размере 10 % в черте оседлости, 5 % вне черты и 3 % в Петербурге и Москве. Кроме того, проводилась политика по ограничению приема в гимназии евреев из низших сословий.



Нам это вообще нравилось. На улицах много народу. Все празднично одеты, ходят толпами, громко разговаривают, о чём-то спорят. Митинги. Самодержавие. Кровавый Николай. Ничего не понимаю, но где толпа, там и я. Мне хочется понять это новое, узнать, что это за слова, но спросить у незнакомых стыдно, а знакомые не знают.

В это время нам сказали, что поезда стоят. Бастуют все железнодорожные служащие. Поезда долго не шли, около месяца.

Дома я мало бывала. Приду в мастерскую, а Красновская сидит и работает. Я спрашиваю её, почему она не подчиняется забастовочному комитету, который велел прекратить работу. Комитет объявил, что тот, кто будет работать во время забастовки, называется штрейкбрехером. Что такое «штрейкбрехер», я не знала, но в этом слове мне слышалось что-то грозное. Красновская мне ответила, что эти сопливые мальчишки ей не закон. Перечислив их по именам, она с презрением сказала: «Тоже мне, законники! Оборванцы! Босьяки! Вот их всех посадят, тогда они узнают, где раки зимуют».

Я не понимала, за что их посадят, но с тех пор Рива стала мне противна, а те, кого она ругала, мне стали нравиться, и я при встрече с ними здоровалась первой. Мне нравилось, как они разговаривают такими словами, что не все понимают.

Прошло несколько дней, а забастовка все продолжалась. Говорили, что для её проведения из Сурожа приезжал кто-то по прозвищу Тарас Бульба. Это большой коренастый парень. Его настоящее имя никто не знал, а если кто и знал, то держал в секрете, чтобы его не арестовали. Я узнала, что на беспоповских могилах ежедневно проходят митинги. Старое, разрушенное беспоповское [старобрядческое. — М.Б.] кладбище находилось недалеко от бывшей Барышниковой фабрики, и там проходили митинги рабочих всего города. В то время это место прозвали Лысой горой.

Во время забастовки я себя почувствовала совсем взрослой, ведь и мне нельзя было работать! Гуляя по улицам, я как-то увидела, что люди разбрасывают напечатанные листочки. Они появляются, озираются, выбрасывают пачку и идут дальше, как ни в чем не бывало. Я хватаю листовку и читаю, затаив дыхание. Заглавие: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» В тексте сказа-

но, что забастовка продолжается уже столько-то времени. С нами бастует почти вся Россия. Фабриканты и хозяева отвергают выставленные нами требования, угрожают полицией. Собирайтесь в такой-то час на Лысой горе. Подпись: «Рабочий Комитет».

Прочитав листок, я решила пойти посмотреть на митинг. Но как уйти без разрешения из дому? Я знала, что мне не разрешат, и ушла без разрешения. Я потихоньку выведала, где это место и, стесняясь, что я, малая, иду туда, где большие, всё же пошла. Народу там было столько, что я так много никогда прежде не видела. Один стоял на пне и говорил. Это и был Тарас Бульба, руководитель забастовки. Он говорил от всего сердца, ругал царя и власть, фабрикантов и хозяев. Он сказал, что фабриканты угрожают полицией, заявили, что сделают локаут (это значит организованно рассчитать рабочих и не допустить их на работу). Пусть поголодают, и тогда пойдут работать за любую плату. Тут многие стали говорить: одни предлагали ещё держаться, а другие заявили, что они уже голодают, что нужно приступить к работе, так как бедному с богатым трудно бороться. Другие сказали, что Комитет поможет нуждающимся. В это время закричали: «Полиция! Казаки!».

Действительно, появилось много конной и пешей полиции, казаков. Многие от страха разбежались, но большинство осталось на месте. Я сначала убежала, но потом мне захотелось посмотреть, что сделают казаки и полиция. До того я полиции не боялась, мне даже нравилась их форма. Я остановилась у какой-то калитки, откуда мне была видна Лысая гора, которая была много выше прилегающих к ней улиц. Полиция окружила толпу забастовщиков, а в середину толпы въехали конные казаки и взяли того, кто выступал, и ещё несколько человек, а потом стали разгонять нагайками толпу. Разогнали и поехали. Однако толпа снова собралась и кричат: «Пойдём, освободим своих товарищей!». И вот толпа в несколько тысяч человек двинулась к полиции. Полиция в то время находилась там, где теперь милиция, на Большой улице, ныне улице Карла Либкнехта. У полиции они остановились и стали выбирать тех, кто пойдёт к приставу просить освобождения арестованных товарищей, но в это время вышел сам становой пристав и закричал: «Разойдитесь, а то стрелять будем». Толпа ответила:

«Пока товарищей не отдадите, никуда не тронемся, хоть убивайте». Долго это продолжалось, но арестованных выпустили, и толпа разошлась.

Забастовка, конечно, была подорвана; начались аресты, а кого не арестовывали, тех хозяева увольняли, и такого рабочего нигде на работу не принимали. Фабриканты выписали себе для охраны казаков. Казаки были очень свирепы и не могли разговаривать по-русски; они в то время служили слепым орудием фабрикантов в борьбе против рабочих.

С тех пор я боялась полиции. Когда я где-нибудь встречала городского, то его взгляда боялась. А что касается казаков, то если где-нибудь на улице увижу казака, то по той улице я долго боялась ходить. Про казаков рассказывали страшные вещи. Говорили, что был подпольный митинг рабочих на Забегаевке, на кладбище, а казаки их окружили и кого поймали, привязали к хвостам своих лошадей. Лошадь гнали, и, конечно, привязанный не мог за ней поспевать, поэтому он тащился по земле и камням. Окровавленных, их привезли в полицию, а там начались допросы и опять побои. Приставом в то время был некий Павловский. Говорили, что его брат служит при царе. Те, кто работал в то время в Клинцах в рабочей подпольной организации, помнят Павловского, если жили. Независимо от того, партийный рабочий или нет, но если попадёт к приставу, тот или убьёт его насмерть, или калекой оставит на всю жизнь. Он обычно избивал так, чтобы следов на теле не оставалось: схватит за волосы и начнёт таскать или бить по бокам, в сердце, живот, и это он сам любил делать. При одном упоминании его имени люди содрогались от страха.

Как же к нему попадали рабочие, не имеющие отношения к партии? Это случалось потому, что многие хозяева выдавали Павловскому тех рабочих, которые им не нравились, и этого было достаточно, чтобы сделать человека несчастным на всю жизнь.

Фабриканты у себя организовали Союз истинно русских. В народе их называли «черной сотней», а похоже это было примерно на теперешний фашизм. Их целью было задавить объединение рабочих и укреплять национальную вражду, в особенности широко распространять антисемитизм. Они агитировали за то, что нужно уничтожать евреев как опасный для русских элемент. Из-за евре-

ев у русских беднота. Дороговизна на рынках, потому что евреи богатые и много покупают, а русским ничего не остаётся. Они предлагали всем рабочим записываться в эту организацию. Тех, кто записывался, брали на работу, а кто отказывался — увольняли как крамольников. Крамольниками они называли партийных людей. Они могли заявить на неугодного рабочего в полицию, а если и нет, то его всё равно не принимали нигде на работу с такими документами, и такому рабочему приходилось долго голодать, покуда не покинет родные края и куда-нибудь не уедет, а там устроится на любую работу и любые условия.

Были и провокаторы, даже из мелких ремесленников, портных. Самым известным из них был Моисей Аронов. У него была портновская мастерская, рабочих он много эксплуатировал, а платить не любил. Рабочий просит, просит у него деньги за свой труд, а когда надоест, скажет, что если не уплатит за проработанное время, то он больше работать не будет, так как ему жить не на что. Для того чтобы не платить рабочим, Аронов сдавал их приставу Павловскому. От их рук много людей пострадало, таких как Перлин (умер молодым) и многие другие. Вот что я видела во время моего пребывания в Клинцах, когда я работала в качестве ученицы у портнихи Саши.

Настал месяц октябрь 1905 года. Как всегда в наших краях в это время, дожди, заморозки, ночи темные. Не видать ни зги. Утром 17 октября, когда я вышла на работу, на улицах было оживлённо, не так, как всегда. Люди, встречая знакомых, целовались или так пожимали друг другу руки, с чем-то поздравляли. Сначала я подумала, что это какой-то русский праздник, похожий на Пасху, что Христос воскрес, и у меня возникла мысль, что опять попы чего-то выдумали, чтобы увеличить свой приход. Тут я заметила, что и евреи поздравляют друг друга. Меня это очень заинтриговало, в особенности когда я услышала слово «стуция». Придя в мастерскую, я тут же рассказала об этом всем. И вот, какая-то из девочек сказала, у неё сестра партийная и что она сказала ей, что это царь испугался забастовок, в особенности железнодорожной забастовки, которая продолжалась почти месяц, когда вся жизнь остановилась в России, и дал «манифест». Называется он Конституцией. Это означает: свобода слова, соб-

раний и ещё кое-какие льготы народу. Она тут же добавила: «Как бы хуже не было. В особенности нам, евреям». Вечером, когда я вернулась домой, то уже дома всё знали. Когда я шла по улицам, то в магазинах, на витринах были вывешены плакаты, поздравления с Конституцией и подробные объяснения, что означает эта Конституция.

Однако для евреев радость продолжалась недолго. Евреи забеспокоились и начали шепотом рассказывать друг другу, что «черная сотня» к чему-то готовится и что всё чаще от антисемитов и хулиганов слышится по нашему адресу: «Подождите! Вам скоро покажут Конституцию». В эти дни как-то вечером, когда я шла домой, из одного домика вышло много старообрядцев. Они шли с небольшими факелами, освещая себе путь. Между ними шёл оживлённый разговор, который не успели, по-видимому, кончить. Из их разговора я поняла, что они шли с собрания, на котором что-то решили и постановили.

Придя домой, я об этом рассказала. Тогда дядя меня выругал, сказав, что из-за таких, как я, пострадают невинные евреи. Я конечно очень испугалась. Что это значит? Я, 13-летняя девочка, виной какого-то непонятного для меня горя. Я пошла к приказчику, считая, что он больше меня понимает и что он мне объяснит. Он отозвал меня в сторону и сказал, что царь Конституцию обратно взял и что за то, что молодые евреи против царя, правительство организует погромы над евреями. Когда я спросила, при чем тут я, он мне объяснил, что в этом обвиняют всех рабочих евреев, а ведь я уже тоже рабочая.

Объяснение это я поняла, но почему надо громить и убивать евреев, если их дети были, как они говорили, «крамольными»? Ведь и русские рабочие тоже участвуют в забастовках. Была ведь забастовка железнодорожников и рабочих других фабрик, куда евреев на работу не принимают. Почему их не громят? Приказчик мне ответил, что, во-первых, потому что царь русский, а во-вторых, потому что евреи здесь чужие и они не имеют права мешаться здесь, устанавливать свои порядки. Я, конечно, не была удовлетворена этим ответом и часто думала, что здесь кроется что-то другое, а что, я не знала.

Настало 21 октября. Помню как сейчас. Пятница. У русских<sup>1</sup> в этот день был какой-то праздник. К тому же, по обыкновению, был базарный день. В этот раз наехало много крестьянских подвод. Ехали всю ночь. Подвод было больше, чем людей. Поговаривали, что в других городах еврейские погромы уже произошли 19 и 20 октября. В Клинцах евреи уже боялись выходить на улицу, но торговцы все же решили открыть свои лавки. Придя в лавки, они обнаружили на их дверях кресты, нарисованные желтым карандашом, в то время как на русских лавках кресты были нарисованы белым. Значит, отметили еврейские лавки, чтобы знать, какие громить. Выяснилось, что к этому дню готовилась полиция, что им помогал Союз истинно русских, что по поручению «черной сотни» лавки метил Петр Петрович Долгов, тогда еще молодой человек.

Меня на работу не пустили. Запуганные, мы стояли у окон и смотрели на улицу. Евреи почти не выходили, даже за покупками на базар в такой большой базарный день, который даже называли «родительской пятницей». Зато улица была запружена русскими, в особенности крестьянами из деревень. Вдруг мы услышали крики. О ужас! Страшно вспоминать теперь об этом. По улицам шла «черная сотня»<sup>2</sup> и кричала: «Бей жидов!». И тут же начали громить лавки. Из пекарни Подперезина вытащили тесто на улицу и топтали его ногами. Начались пожары. Евреи попрятались кто куда. Уже день клонился к вечеру, а мы стоим у окон и смотрим, как несут и везут награбленное еврейское добро, и дрожа ждем свой черед. Вдруг кто-то стучит в окно. Посмотрели, а это сосед, рабочий Кулаков, велит закрыть ставни и покинуть дом, так как опасно нам здесь находиться.

Однако мы решили не идти прятаться к русским. Вышли во двор, кругом межуют евреи [все соседние дома еврейские. — М.Б.], так что идти некуда. Дядя уверенно заявляет, что уже день

---

<sup>1</sup> Общественное сознание того времени почти не отделяло украинцев и тем более белорусов от русских. В Клинцах, находившихся вблизи сегодняшнего пересечения границ России, Украины и Белоруссии, могли быть и те, и другие, и третьи.

<sup>2</sup> Кто именно кричал «Бей жидов!», «черная сотня» или просто толпа? Организовывала ли полиция погром? Это девочка могла узнать только от третьих лиц.

кончился, погромщики награбили много, и уже к нам не придут. И тут раздался стук в двери и крики: «Стойте, ребята! Тут Белкин. Громи!». И двери полетели, и посыпались стёкла из окон. Мы все почему-то бросились в кухню, оттуда в маленький чуланчик, через который был проход в переулок к забору Кулакова, который нас приглашал. И мы через этот переулок, пользуясь темнотой и лестницей, которую он нам подал, перебрались с трудом через забор и гнилую, скользкую от дождя крышу. Мы-то молодые скоро перескочили, но с бабушкой пришлось очень трудно. Она была старая, напуганная, а тут ещё слышала, что в доме громили тво-рили. Ужас охватил всех нас. Но вот погромили и бросили факел, запалили, но русские соседи затушили пожар.

Когда ушла первая банда громил, то мы пошли посмотреть, что они натворили. Окна и двери были сломаны. Одежда, бельё, постели — всё забрано. Много пуху и пера в доме и во дворе, как снегом покрыто. Это они разрывали подушки от ярости.

И вдруг опять крики громил, ещё банда идёт, и мы опять побежали к соседу. Покойный братишка, Давыдка, очень расплакался, где будем жить, что будем кушать? Дядя надел шапку Кулакова, чтобы его не узнали, и вышел к калитке. Тут его увидел городовой, узнал и говорит: «Хочешь, Белкин, спрятаться хорошо? Пойдём в полицию. Там сейчас богатых евреев много». Это произошло потому, что пристав хотел заработать и посылал городских к богатым, которые заплатят ему за то, что он их спрячет. Дядя согласился, так как Кулаков боялся долго держать нас у себя дома. И мы с городовым отправились в полицию.

Привели нас в арестантскую. На полу лежало много евреев, большинство богатых. Дети спали, а взрослые — кто молился, а кто плакал и рвал на себе волосы. В помещении было почти темно, в углу горел маленький фитиль. К окнам нам не разрешали подходить, по-видимому, чтобы мы не видели, что и полиция участвует в погроме, и чтобы не запомнили лиц тех, кто громил.

Утро. Суббота. 22 октября.

Пришёл городовой и заявил, что погром кончился и что можно спокойно идти домой. Когда мы вышли на улицу, то увидели такую картину. На Почетухе вся горка к лесу забита крестьянскими подводами, которые рвались опять в город, громить. У них

появился аппетит к грабежу. Однако тут фабриканты испугались, что и их станут громить. Так как евреев уже разгромили и братья у них уже нечего, то будут громить русских. По требованию фабрикантов на мосту поставили охрану, чтобы не пускать крестьян в город. К крестьянам вышли городские власти со священником и хоругвями. Священник служил молебен и уговаривал их мирно вернуться домой. Наконец он сказал, что они ни в коем случае в город допущены не будут. Громилы побыли (у моста) до вечера, а потом уехали домой ни с чем.

Я поняла, что от погромов в большинстве страдали бедные евреи, потому что богатый скорее мог спрятаться в более надёжное место, и к тому же, даже если его имущество разгромили, его авторитет богача оставался, и ему опять доверяли фирмы, и опять он был на коне. К тому же у него оставалось недвижимое имущество. Он только страдал от оскорблений как еврей, но убытки скоро забывал и начинал жить по-старому. Если же у бедного еврея забрали его пожитки, то ему и раньше-то в долг не давали, а теперь и подавно не дадут, и он всю жизнь останется страдать в нищенстве.

Когда мы вышли на улицу, то узнали, что единственными жертвами погрома оказались старуха Шахнович и молодой Хазанов. Над Шахнович зверски издевались, резали ей уши и наконец облили керосином и подожгли.

Когда мы вошли в дом, то там не было ни окон, ни дверей. Даже обои со стен были сорваны. Всё, что можно было унести, было унесено, а остальное разломано и выглядело грудой лома. Мы начали приводить дом в порядок, чтобы можно было в нём находиться хоть кое-как, ведь на улице стояла холодная, сырая осень. Евреи настояли, чтобы им дали полицейских делать обыски по подозрению в хранении награбленного добра. Приставу, конечно, дали за это взятку. Конечно, много добра нашли, но русские в таких случаях сразу заявляли: «Если будете искать ваше добро, то мы будем искать вашу кровь». Это значило, что они обещали повторить погром, но на этот раз не с целью грабежа, а с целью уничтожения евреев.

Дальше — больше, мы узнали, кто были зачинщики погрома. Оказалось, что по всему Клинцовскому и Сурожскому округам было разослано распоряжение властей, чтобы к назначенному



дню гнали крестьян из деревни участвовать в погроме, а руководил всем сам становой пристав с «черной сотней». Пристав также принимал участие тем, что давал советы погромщикам, когда какой-нибудь еврейский магазин не могли взломать. Так, у церкви, на большой улице был магазин мебели Песелева, но его железные двери не поддавались. Тогда пристав велел привязать пудовик (пудовую гирю) к толстой веревке и ударить с размаху. Так и сделали, и двери открылись. Сам Петр Петрович Долгов метил еврейские лавки и дома и руководил группой погромщиков. Он также заходил к богатым евреям в дома и предлагал им поставить икону с лампадой на окно, якобы икона их охранит. Когда же еврей отказывался, он тут же без стеснения начинал громить в присутствии хозяев.

В число таких попал еврей Малкин. Долгов предложил ему поставить на окно икону с горящей лампадой, на что тот ответил: «Если еврейский бог от меня отвернулся, то я у твоего бога защиты искать не стану». Долгова рассердил его ответ, и он сел играть на рояле и, немного поиграв, сам его тут же разломал, а семья Малкина в ужасе бросилась из дому. Вот я примерно вкратце описала еврейский погром в Клинцах в 1905 году.

После погрома я, конечно, осталась раздетая. Все моё было забрано громилами. На работе хозяйку тоже разгромили и материал заказчиков растащили, так что работы не было. Между тем весть о том, что клинцовская «черная сотня» готовит ещё погром, разнеслась далеко и дошла до моего отца. Он написал мне, чтобы я приехала домой, и прислал мне, во что одеться в дорогу. Я так и сделала. Возвратившись домой, я узнала, что там погрома не было и что в окрестных местечках не было погромов. Потом нам объяснили это тем, что белорусские крестьяне не были организованы в «черную сотню» и к тому же жили с евреями дружно.

Но евреи всё равно готовились к погрому и организовали самооборону. Запаслись какими-то нагайками, так как оружие носить не разрешалось.

Итак, я живу дома вместе с отцом и малыми братишками. Мачехи с нами нет, она уехала домой на осенние праздники и до сих пор почему-то не вернулась, по-видимому, потому, что там ей лучше и нет неродных детей.

Я хозяйничаю. Папа пока не может меня никуда устроить на работу. Портные готовы взять меня на три года в учение при условии, что отец ещё уплатит им 25 руб. Отец был готов уплатить деньги, но не хотел отдавать меня на такой долгий срок, как он говорил, «продать ребенка на такой долгий срок».

Время шло. Зима была суровая. Снегу не было, а морозы сильные. Приближалось русское рождество. Шахтёры стали возвращаться в свои деревни на праздники. Они проходили через наше местечко, и мы боялись погрома. В те годы шахтёры были темными дикарями. Пьяницы ужасные. Их запускали под землю надолго и старались изолировать от людей, в особенности от других рабочих, чтобы они были темней. Это было выгодно шахтовладельцам. И вот эти шахтёры каждый день большими группами проезжали (через) местечко. В таких случаях евреи подкупали урядника и сидельца (это продавец водки), [чтобы закрыл лавку. — *М.Б.*]. Торговля водкой разрешалась не всем, в особенности евреям к этой работе не допускались<sup>1</sup>. Когда шахтёры приезжали, винная лавка была закрыта, и так было неопасно. Трезвый человек всё же не осмелится громить. Но вот стали поговаривать, что в «красное воскресенье» (это перед рождеством) должно приехать много шахтёров и что обязательно будет еврейский погром. Начала готовиться самооборона, в том числе и пожарная дружина, где было немало русских богатырей, но [как оказалось. — *М.Б.*] и немало антисемитов.

Приехала еврейская самооборона из местечка Костюковичи (это от нас 35 верст) в количестве 30-ти человек. Все были вооружены револьверами и браунингами. Все были молодыми и сознательными парнями, одни ремесленники, другие наёмные. Они приехали к ночи, и об этом все сразу узнали.

В воскресенье утром начали прибывать шахтёры. Евреи боялись открыть лавки. Шахтёры начали кричать, чтобы открыли лавки, что им нужно купить гостинцы домой. Некоторые открыли. Тут они стали требовать, чтобы винную лавку открыли, но

---

<sup>1</sup> Многие евреи оставили винокурение после 1861 г., когда откуп в этой отрасли был заменён менее выгодным акцизом (налогом). А в 1895–1898 гг. государство установило монополию на продажу спиртных напитков и стало спаивать крестьян и рабочих.

этого не сделали. Тогда шахтёры разгромили еврейские ларьки, торговавшие железом, нахватили ломов и других массивных предметов, чем можно было взламывать замки, и направились к винной лавке. Разгромив её и напившись вволю вина, они пошли громить другие лавки. И тут произошло неожиданное для евреев. Они надеялись на пожарную дружину. И действительно, когда громилы бросились в винную лавку, один из пожарников, молодой и очень здоровый Шидорин, повёл дружину против громил. Тут другой русский богатырь, тоже пожарник, как бы невзначай подставил ему ногу. Тот упал, а громилы тут же его убили. Тогда евреи поняли, что пожарная дружина их не защитит, а наоборот. Тогда приезжая самооборона встала на противоположную сторону [улицы. — М.Б.] и начала стрелять в толпу громил. Погромщики испугались выстрелов и начали покидать лавки.

В это время у нас был на каникулах студент Могилевкин, по национальности русский. Они жили на базаре. Говорили, что он демократ и что он идёт против царя. Он вышел на крыльцо лавки и начал говорить шахтёрам речь. Он их уговаривал не громить евреев, таких же, как они, людей, и доказывал, что погромы нужны правительству, и оно на это натравливает. Однако толпа и слушать не хотела. Тогда, видя, что отвлечь их от погрома не удастся, он предложил идти громить имение князя Оболенского, которое находилось недалеко от местечка, и там был винокуренный завод. «Зачем вам громить бедных евреев, от которых вы ничего не получите?». Громилам эта идея понравилась, и они сразу направились в имение князя, конечно, по пути ломая окна в еврейских избах. А студента Могилевкина сразу не стало (он скрылся), так как его хотели арестовать<sup>1</sup>.

Ворвавшись в имение и узнав, что чаны завода полны спиртом, они начали его пить и таскать домой. Весть о том, что есть вольный спирт, быстро разнеслась по деревням. Начали приезжать на санях, кто какую посуду мог захватить. При этом они приговаривали, что евреев громить будут, когда спирт разберут.

---

<sup>1</sup> Сравните этот случай с воспоминаниями Клавдии Борисовны Старковой, в которых рассказывается, как её дед, дивизионный врач Михаил Иванович Котляров, подобным образом предотвратил еврейский погром в Белостоке (Старкова К.Б. Воспоминания о пережитом. Жизнь и работа семитолога-гебраиста в СССР. СПб.: Европейский дом, 2006. С. 31).

И началась работа. Одни возят домой, другие напиваются на месте и из-за большого мороза замерзают или же, переходя пьяными по речному льду, валятся в прорубь, а которых самооборона прикончит. Одним словом, весело было.

К вечеру в чане осталось мало спирта, не видно, как брать. Тут один догадался зажечь спичку и посмотреть, сколько осталось. И конечно пламя охватило всё, и те, которые там были, выскочить не успели. Стояло красивое зарево в морозную звездную ночь, и никто не боялся этого пожара, так как он был далеко от жилых домов. В то же время евреи боялись завтрашнего дня, ведь опасность ещё не миновала. Весть о еврейском погроме в местечке облетела вокруг. А также весть о том, что было много жертв из-за винокуренного завода. Крестьяне из деревень стали приезжать и искать не вернувшихся домой. Ходили слухи, что погибло человек полтора.

Озлобленные громилы не хотели успокоиться, кроме того, громить евреев съехалось множество крестьян из соседних деревень. Однако самооборона стояла на всех подступах к местечку и не давала им приблизиться. Оружия они всё же боялись. Урядник не мог переносить такое положение, то есть что евреи мало пострадали. Он метался во все стороны там, где стояла самооборона и кричал: «Легче, пожалуйста». Они, конечно, поняли его намерения и как бы невзначай легко его ранили. Тут он, как бешеный, закричал, что даст телеграмму исправнику, хозяину округа, о том, что погром продолжается третий день, разгромлено 40 лавок, а евреи стреляют в громил. В телеграмме пристав у исправника просил помощь. Случайно некий Тамаркин, богатый еврей, увидел отправляемую телеграмму, бесцеремонно схватил пристава за шиворот и закричал: «Пиши под мою диктовку, иначе тебе живым не быть!». Урядник изрядно струсил и написал, как ему диктовал Тамаркин.

В то время всюду стояли казаки и драгуны для борьбы против рабочего движения. В близлежащем уездном городе Климовичи тоже стояли драгуны, и все думали, что после телеграммы урядника они придут [в Хотимск. — М.Б.]

Теперь расскажу, что я делала во время погрома. Когда отец увидел, что начали громить лавки, а ему нужно идти в самообо-

рону (он был у них записан и ходил на учения), то он разбил окна в избе, а вход заложил дровами. Мачехи не было дома, и он взял за руки братишек и меня и отвел нас огородами к знакомому русскому печнику. Это был наш придворный печник. Сам же отец ушёл в свою организацию [самообороны. — М.Б.]. Когда разгромили лавки, и русские начали тащить еврейское добро, то наш печник тоже захотел пожитья, но мы ему мешали. Он стал нас посылать домой, [говоря. — М.Б.] что ничего уже нет [погром кончился. — М.Б.]. Я, конечно, понимала, что идти некуда, но мои малыши захныкали. Не знаю, чем бы всё это кончилось, но на наше счастье пришёл отец. Он как раз вернулся посмотреть, не мешаем ли мы печнику. Отец не стал ждать, чтобы печник повторялся, и повел нас снова огородами. Набродили мы на баньку, зашли туда, а там ещё одна еврейская семья. Отец попросил женщину присмотреть за нами, а сам опять отправился к своим. Там мы просидели, пока крестьяне не разъехались по домам. Когда евреи немного успокоились, за нами пришёл отец и по дороге домой рассказал, что произошло за эти дни. Я это уже выше пересказала.

Тогда же отец сказал: «Жалко, такую жертву мы отдали [принесли. — М.Б.]». Он рассказал, что убили Шифрина, еврейского парня 28 лет. Он был красавцем и очень здоровым. Его силы многие боялись. Я попросилась у отца пойти на похороны, и тот разрешил. На похоронах были, по-моему, все евреи, как говорят, стар и млад, а также приезжая самооборона. Появился красный флаг с надписью: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». Был также и чёрный флаг с надписью: «Мы клянёмся отомстить за тебя». Все присутствующие плакали. Как только его вынесли, народ запел песню «Вы жертвою пали». Потом пели похоронные песни на еврейском языке:

*Ду бист гефален майн гетраер.*

*Эс тrefт дых айн куйл, майн гетраер.*

*Мыр хапун дых аруйс глайх фун фаер.*

*Мыр гейлун, мир кушен дайн вунд.*

*Ты упал, мой дорогой [товарищ].  
Встретилась тебе пуля, мой дорогой [товарищ].  
Мы выхватываем тебя прямо из огня.  
Мы лечим, мы целуем твою рану<sup>1</sup>.*

В то время эти песни пользовались большой популярностью. Поскольку я первый раз видела такую картину, то я стояла и дрожала. Всё же хотелось досмотреть до конца. Все пошли на кладбище. Когда Шифрина похоронили, то многие выступили с речами. В особенности хорошо говорили из приезжей самообороны. Они обращались к присутствующим с призывом отомстить за эту жертву, они призывали людей объединиться и восстать против царской власти, которая только и может, что делать погромы над евреями.

В тот день в нашем местечке было оживлённо. Никто не хотел сидеть дома. Говорили, что погрома больше не будет и что самооборона возвращается домой. Потом рассказывали, что в деревне неподалёку устроили засаду, чтобы захватить самооборону, когда они будут проезжать мимо. Но их вовремя предупредили, и они проехали другой дорогой и доехали благополучно. Мы этому радовались, ведь они спасли наших евреев от второго погрома.

Итак, я такая маленькая уже была очевидцем двух погромов. Но погромы, которые произошли у нас и в Клинцах, были ничем по сравнению с теми еврейскими погромами, которые прошли в Бессарабии, в особенности в Кишиневе. История не знает такого кровопролития, какое произошло там. Евреям распарывали животы и пихали туда пух и перо. Евреев выбрасывали с высоких этажей. Детей поднимали на штыки, прокалывая одного за другим. Трудно описать, сколько пролилось там еврейской крови<sup>2</sup>.

Ещё отличились еврейские погромы в Белоруссии: Орша, Рогачёв, Шклов. В Шклове громилы зашли в синагогу во время молитвы, когда евреи стояли в *талес ун тфилен* [т.е. в разгар мо-

<sup>1</sup> Я благодарен Людмиле Шолоховой и Аркадию Зедьцеру за помощь в прочтении и переводе этих строк.

<sup>2</sup> В октябре 1905 г. в Кишиневе прошел погром, в котором было убито 19 и ранено 56 евреев. Бабушка, скорей всего, пересказывает здесь ужасы знаменитого Кишиневского погрома апреля 1903 г. (убито 59, ранено 586 человек). Самый страшный погром в октябре 1905 г. состоялся в Одессе: около 400 убитых.

литвы. — М.Б.]. Тфилен надевают на руку и голову. Громилы вырезали куски мяса у евреев на лбах и на руках, там, где это было надето, а потом их растерзали. Затем они вытащили свитки Торы из амвона, завернули в них убитых и подожгли синагогу. Из Орши в Рогачёв выехала еврейская молодёжь, человек двести, для защиты тамошних евреев. Когда они стали выходить из поезда, их полиция окружила и всех зверски убила<sup>1</sup>. Вот какое горе было в то время.

В то время мы выписывали еврейские газеты и журналы. Тогда, несмотря на царскую цензуру, газеты всё же о многом писали. Евреи иностранных государств забили тревогу, в особенности в Америке. Большинство русских евреев поднялось эмигрировать за границу, в основном в Америку, как говорили, ближнюю и дальнюю: в Нью-Йорк, Канаду, Аргентину. Всюду и везде евреи собирались толпами и рассуждали, куда ехать и на что ехать. После погромов заграничные евреи прислали много денег для помощи евреям, пострадавшим от погромов. Вот многие эти деньги и использовали для отъезда. Обычно уезжал один из семьи. Тут появилось много жуликов, которые пользовались темнотой и доверчивостью евреев, назывались представителями какого-нибудь эмиграционного агентства и забирали у них деньги, а те оставались нищенствовать в каком-нибудь пограничном городке. Таких случаев было очень много. О последней эмиграции евреев говорил весь мир, такой большой эмиграции никогда не было. Даже на экране показали фильм, в котором последний пароход с еврейскими эмигрантами отправлялся в Америку. Это была душераздирающая картина. Как теперь она стоит перед моими глазами. Конечно, и мой отец хотел ехать, но нас не на кого было оставить.

Вот как жилось евреям в царской России. Первое — это черта еврейской оседлости, там, где евреям разрешалось жить. Таких губерний было мало, поэтому они были густо населены евреями,

---

<sup>1</sup> В Орше в погроме погибло 30 человек. О том, что полиция в Рогачёве зверски убила 200 приехавших из Орши членов самообороны, нам ничего не известно, и это маловероятно. К тому, что Доба-Мэра не видела собственными глазами, а слышала от других, следует относиться не как к фактам, а как описанию общественных настроений, которым она была свидетельницей и которые прошли в её в сознании переоценку под воздействием двадцатилетнего советского опыта.

в основном беднотой. Рвали друг у друга кусок изо рта, потому что негде было заработать. Об этом очень хорошо писал Шолом-Алейхем. Он до глубины души знал и понимал всю трагедию еврейской жизни. Евреям не разрешалось жить в деревнях, не разрешалось иметь землю и её обрабатывать. На государственной службе нельзя было состоять. Когда еврей служил в армии, то ему можно было быть только простым солдатом, а выше нельзя. Его все презирали, все били, гоняли, а он должен был молчать и терпеть<sup>1</sup>.

Хотя и теперь немалый антисемитизм, но разве это можно сравнить. Теперь правительство (антисемитов) наказывает, и они боятся, а тогда само правительство этого хотело. Теперь говорят: «Нельзя обзывать еврея жидом». За это судят, но не говорят, что он такой же человек, как и мы. Антисемитизм, по-видимому, ещё не скоро искоренится. По моему мнению, тогда искоренится антисемитизм, когда все дети будут воспитываться <...> у хороших воспитателей. Тогда, может быть, придёт этому конец.

Вернусь опять к своей жизни. Живу дома, нигде не работаю. Один родственник, Блантер, рассказал мне, что у него в Рославле есть родственник — портной, что он у него был, говорил с ним про меня, и тот согласен меня к себе взять на работу. Я, не задумываясь, уезжаю в Рославль, приезжаю к этому портному, а я ему совершенно не нужна. Правда, у него большая мастерская и много девушек-работниц. Он разрешает мне у него жить, пока я не найду себе работу. Ежедневно вымеряю [вышагиваю] вдоль и поперёк город, но в таких, как я, не нуждаются.

Рабочие почему-то разговаривали со мной, как с большой. Они мне сообщили, что у них во дворе живет вдова Гайдукова, что у неё вечером будет собрание рабочих и что для этого приехал оратор из Брянска. Мне, откровенно говоря, давно хотелось посмотреть, что такое массовка, как тогда говорили, конспиративная, что значит секретная. Затаив дыхание от счастья, я не могла дожидаться вечера. Наконец настал долгожданный час, и мы отправились. Войдя в избушку, мы увидели много народа. Горел только маленький фитилек, так что я не могла никого разглядеть. Но когда мы вошли, то меня сразу заметили и спросили, чей это

---

<sup>1</sup> Бабушка выказывает изрядную осведомленность о положении евреев в царской России. Вопросы же общей политики и истории известны ей меньше.



ребёнок, и выразили надежду, что я не разболтаю. Они были не прочь меня выпроводить, но девушка, что меня привела, толкнула меня в глубину [избы. — *М.Б.*] и шепнула: «Лезь на печку». Так я и сделала.

Многие выступали и говорили все об одном — что нужно сбросить царя. Я в то время не могла этого понять. Как это можно, когда у него столько солдат, и все богачи за него? И как такую силу хочет сломить такая маленькая группа людей? Я конечно тогда не понимала, что это не одна группа, хоть я и видела в Клинцах толпу в несколько тысяч человек, которые тоже кричали: «Долой царя!». Хоть я и мало в этом понимала, но осталась довольна, что пустили в такое секретное место.

Вскоре я узнала, что один еврейский парень, участник самообороны, лежит в больнице, раненный в ногу. Это был Хача Пищик из Почепа. Мастерницы пошли его проведать и спросили, не хочу ли я пойти на него посмотреть, проведать земляка. Мне всё равно было нечего делать, и я отправилась с ними.

В больнице я увидела лежащим бледного молодого блондина. Он очень нам обрадовался. Тех он знал, а меня нет. Он уделил мне много внимания, очень сожалел, что я такая малая, а должна уже думать самостоятельно о своём существовании. Он назвал мою жизнь скитаниями и посоветовал мне немедленно ехать домой. И вот я решила назавтра найти подводу и ехать домой. Но когда я утром проснулась, меня охватил ужас. Во время сна у меня вытащили деньги на дорогу. Что делать? Как быть? Не на что даже купить булку покушать. Тут я вспомнила, что недалеко отсюда, на хуторе, живет дядька, брат моей матери. Говорили, что он добрый. Я стала расспрашивать, бывает ли он здесь и, если да, то у кого останавливается. Меня направили на постоялый двор, а там сказали, что он был вчера, но уехал обратно. Стали у меня спрашивать, откуда я и зачем он мне. На душе было, конечно, тяжело, и я рассказала всё. Тогда мне предложили остаться домработницей, уговаривали, что мне будет хорошо. А я залилась слезами из-за того, что, вместо помощи, мне, ребёнку, предложили стать у них прислугой.

Когда они поняли, что я у них прислугой не останусь, мне сказали, что здесь живёт дядина дочка Нехам Каплан, которая

учится в гимназии. Я решила обратиться за помощью к ней, понимая, что, учась вне дома, она не без денег. Я отправилась в гимназию, долго ждала, пока кончатся занятия. Смотрю, она выходит с гимназистками. Такая зависть охватила меня в эту минуту. Разве можно было сказать, что мы дети брата и сестры? О ней заботятся, она сытая, одетая, довольная, а мне жизнь не мила. Я долго не решалась к ней подойти, всё шла сзади. Я её знала, так как была у них летом с младшим братишкой, когда старший болел скарлатиной. Она же шла вперёд, меня не замечая. Дождавшись, когда она попрощалась с одноклассницами, я робко к ней подошла. Она меня радостно встретила, но, выслушав, сказала, что помочь не может и что денег у неё нет. Было ли это правдой или нет, меня не интересовало. Одно было на уме: как добраться домой?

Идя по улице, я встретила нашего хотимского извозчика. Я попросила его отвезти меня домой, рассказав своё горе. Он сразу согласился, и я собралась и поехала с ним домой, а там отец обрадовался моему приезду и с радостью заплатил за подводу. Долго после этого я помнила свою поездку в Рославль и не могла простить Блантеру, что он меня обманул, из-за чего я столько здоровья и денег потеряла. Ещё хорошо, что так благополучно кончилось, могло быть хуже.

Когда я вернулась домой, отец отдал меня в учение к мужскому портному. Как я уже писала, дамские портные хотели много денег и брали в учение надолго, а мужские денег не просили, в учение брали на один год, а после этого обещали платить зарплату. Отец, конечно, не учёл, что девушке придётся работать среди одних мужчин. А рабочие в то время были тёмными. Среди них было много пьяниц и негодяев, а среди женщин у дамского портного этого не было. Я в этом мало разбиралась, а если бы и понимала, то всё равно не смела бы возражать отцу.

Я пошла работать перед еврейской Пасхой, примерно в апреле. Моего хозяина звали Мендель, а его фамилия была Ицков. Он был человек неплохой. Семья у него была большая, жена и много детей. Работали, кроме меня, двое: один — мастер, другой — подмастер и я — ученица. В первые же дни я поняла, что мне будет здесь тяжело, как не привыкшей с детства к ругани и сквернословию. Хозяин, правда, относился ко мне с уважением.

Зная, что я из приличной семьи, он старался при мне не ругаться. Жил мой хозяин очень бедно. Он сам работал мало, потому что целыми днями бегал в поисках работы, а работал он ночью и также же приготавливал нам работу на день.

Несмотря на ненавистную новую жизнь, я быстро покорила судьбе. У хозяина я работала, а дома ела и спала. Мне легко удалось освоить новую работу, и хозяин и рабочие не могли нахвалиться на меня и на мои способности. Зато дома моё положение ухудшилось. Неродная мать без стеснения не хотела, чтобы я кушала дома. Я работала в несезонное время от семи утра до семи вечера. В промежутке один час — обед. А когда работы было больше, то совсем на часы не смотрели. Когда я возвращалась домой усталая, она меня упрекала едой, и это было мне тяжелее моей работы. Я с каждым днём всё более убеждалась, что в доме, где я родилась и почти выросла, где живут мой отец и братишки, я чужая. Всё же, возвращаясь домой с работы, какой бы ни была усталой, я всё делала дома по хозяйству. По четвергам после работы я всю ночь убирала и чистила в доме к субботе, а наутро, не спавши, уходила на работу.

Понятно, что мне жилось очень тяжело. Работала я бесплатно, одеться не на что было, ходила оборванная. Немного выручала разноска готовой работы. С этим хозяин всегда старался меня посылать, заказчики давали на чай, и это делилось между рабочими. Если относили другие рабочие, то они присваивали чаевые себе, а потом говорили, что ничего не дали. Я же поступала честно, и тогда мне с этого перепадали какие-то гроши. На эти гроши я могла хотя бы помыться в бане и купить что-нибудь дешёвенькое.

Настало лето 1906 года. К нам приехал работать парень из уездного города Климовичи. Парень был худой, черненький и очень некрасивый. У него была фарфоровая флейта, на которой он играл после работы. Я сразу заметила в нём отличие от других рабочих. Он хорошо говорил по-русски, не ругался и не сквернословил. У него было много книг, и он много читал. У меня сложилось мнение, что он не похож на портного. Улучшив момент, когда нас не слышали, я спросила его, давно ли он работает. Он ответил, что всего три года. Он мне рассказал, что экстерничал, но так как жить не на что было, он стал портным. Действительно,

он был больше похож на экстерника, чем на портного. Его звали Лёва, но свою фамилию он мне не назвал. Мне это было странно. Почему человек из большого города приехал в наше захолустье и не говорит своей фамилии?

Поработав немного с нами, Лёва спросил, грамотные ли мы. Когда он узнал, что мы грамотные, он нам предложил книжки читать. Я охотно принялась за книжки. Там были книжки на еврейском языке и на русском. Лёва часто просил рассказать о прочитанном. Затем он начал давать просто брошюрки на еврейском и русском языках. Брошюрки на русском языке были книжечками московского издательства «Донская речь». Как я после узнала, эти брошюрки пользовались в народе большой популярностью. В них говорилось и о тяжелой народной жизни, и о бездушных богатеях. Еврейские книжки были точно в таком же духе, только названий не помню. Мне эти книжечки очень нравились, и я охотно читала, сколько успевала.

Подруги у меня были те же, но им лучше жилось, и они не работали нигде, только дома матерям помогали. В свободное время я с ними ходила гулять, но даже в нашем возрасте у нас были разные взгляды. Только с одной девочкой, Рахилью, её отец был гамбургщик [дубильщик? — *М.Б.*], и она тоже работала у отца, мы были почти равные. Нас разделяло только то, что она была дома нужным членом семьи, а я наоборот. Жили они очень бедно. К ним всегда собиралась рабочая молодёжь, читали книги, газеты и говорили о существующем строе. Так тогда проходила моя детская жизнь.

Однажды летом после работы я с девочками пошла гулять по Барабановке. Это улица за рекой, где тогда все гуляли. Здесь евреям разрешалось гулять, а жить — нет. Здесь жил один помещик по имени Роберт. Он очень не любил евреев, но так как наше местечко было Могилёвской губернии и евреям можно было нём жить, то он одну улицу посередине местечка, где он жил, выходатайствовал у правительства сделать её Орловской губернии, а в Орловской губернии евреям жить было запрещено. И выселили оттуда всех евреев. Стояли забитые досками пустые дома выселенных евреев, и их никто не покупал, так как русские были уверены, что им и так всё достанется.

Вот по этой улице в субботу и праздники здесь гуляли. Улица была красивая, зелени много, и поэтому все любили по ней гулять. Вот однажды, когда я гуляла с девочками, за нами стал ходить один взрослый парень, Шифрин. Говорили, что он был «демократ». Это те люди, которые не хотят царя. Сначала мы на него не обратили никакого внимания, а затем убедились, что он идёт за нами. Будучи совсем малыши, мы смутились и собрались идти домой. Он, по-видимому, слышал наш разговор и обратился ко мне: «Девочка, извинись перед своими подругами. Мне нужно с тобой о чём-то поговорить». Изрядно смутившись, я подошла, и мы пошли. Тогда он мне сказал: «Мне с тобой нужно поговорить об очень важном деле». Он сказал, что новый мастер Лёва рассказывал ему обо мне, говорил, что я очень понятливая и не похожа на остальных девочек нашего места и что даже взрослые не поймут то, что я могу понять. Он рассказал мне подробно и просто, почему я живу плохо, а рядом Ривкины девочки живут богато. Он мне объяснил, что для того, чтобы все жили одинаково, рабочие должны объединиться и сбросить царя, и тогда жить станет лучше. Он мне поведал, что даже в нашем местечке есть большая организация и что это нужно держать в секрете. Он спросил у меня, не желаю ли я вступить в их организацию. Я спросила, есть ли у них такие малые, как я. «Конечно, нет, — ответил он, — но я за тебя поручусь, так как ты очень толковая девочка. Только конспирация!». Это значило, что ни одна душа не должна знать, о чём он со мной говорил.

Мои подруги ждали меня у дома. Они засыпали меня вопросами, о чём он так долго со мной говорил. Я ответила, что раньше о работе, а потом о книгах. Ответ мой их не удовлетворил. Я стала для них загадкой, и они всё время недоверчиво на меня смотрели. А я почувствовала, что с этого дня я стала другой, не такой, как раньше. Ведь если не моих подруг, а меня выбрали, чтобы посвятить в эту тайну, то, наверное, я чем-то от них отличаюсь. Когда я пришла на работу, мастера встретили меня с улыбкой, по-видимому, они знали о происшедшем. Но я сделала вид, что ничего не заметила.

Теперь я поняла, почему Лёва, наш мастер, приехал из города к нам работать. А почему он не называет своей фамилии? Это зна-

чит, что его преследует полиция. Я, как и прежде, читала книжки, полученные от него, и хорошо в них разбиралась. Мастера стали при мне обо всём разговаривать, чего раньше не делали, и мне часто даже было неудобно, что я их стесняла; а так я радовалась, что в отсутствие хозяина мы разбирали разные вопросы.

Лёва мне сказал, что у него есть книга Карла Маркса, что она называется «Политэкономия», что Маркс это мудрый человек, который писал о тяжёлой рабочей жизни. Он сказал, что такую книгу мне одной читать будет трудно и что он в свободное время будет её со мной разрабатывать. Так и сделали. Мне эта книга очень понравилась, и я с интересом слушала его объяснения.

Однажды наши рабочие объявили, что сегодня массовка, что значит подпольный митинг. Я впервые была на таком митинге в Рославле, но там все были незнакомые, а здесь будут все свои. Массовка состоялась в лесу у помещика Роберта, того, который выгнал евреев со своей улицы. Если бы он только знал, что у него в лесу происходит, он бы всю Россию поднял. Действительно, здесь было много знакомых, но все были взрослые. При виде меня некоторые спрашивали друг у друга, кто меня сюда привел и сумею ли я держать конспирацию. Вдруг послышалось: «Идёт! Идёт!». Появился приезжий оратор, и массовка началась. Кругом был выставлен патруль, который пропускал только тех, кто знал пароль (условленное слово). На массовке было много людей, в том числе и сестра моей подруги Рахили, Ася. У них была заготовочная мастерская, но жить было не на что. Прошло немного времени, и я попросила Асю, чтобы в организацию приняли и Рахиль, так как она была толковой и много читала, а я тогда не буду одна. Вот теперь мне совсем стало хорошо. Вместе с Рахилькой мы выполняли всякую порученную нам работу. Нас посылали туда, где взрослым нельзя было показаться, а на нас не обращали никакого внимания. Мы стояли вместе на посту, направляли товарищей на массовку, а сами рвали полевые цветы, не вызывая подозрения со стороны посторонних. В доме Рахили под полом была подпольная типография. Ею руководил жених её сестры Айзик Рабинкий. Он не обладал красноречием, но практически вёл собрания и руководил организацией очень хорошо.

У нас ещё была подруга, которая по тому времени была образованной, начитанной, и её считали интеллигенткой. Её отец имел аптекарский магазинчик, но они жили очень бедно. Её тоже звали Рахиль, а фамилия — Берлин. С тех пор, как мы вдвоём от неё отделились, она поняла и начала просить нас не оставлять её одну, так что мы были вынуждены просить руководителей поручиться за её надёжность.

Мы, трое девочек, делали столько работы в организации, что никто бы не поверил. Массу разделили на группы, так как массу собирать часто невозможно, чтобы не провалить [организацию. — *М.Б.*]. Мне и Рахильке Берлиной поручили руководить группами, то есть мне дали группу из 15 человек и ей то же самое. Наша работа заключалась в том, чтобы мы их собирали и читали им книжки, так как большинство было в то время неграмотным. Мы разбирали разные вопросы; и несмотря на то что мы были маленькими, группы относились к нам с уважением.

Так шло время. Рабочие стали жаловаться, что им не хватает на жизнь и что они много работают. Организовали забастовку рабочих. В ответ одни хозяева пообещали локаут, а другие пригрозили полицией. Всё же кончилось хорошо, в пользу рабочих. В той забастовке я принимала горячее участие, сама проверяла мастерские. К портным присоединились рабочие других специальностей.

Ко мне домой стали приходиться люди, и мачеха пристала к отцу, чтобы он меня прогнал, так как я малолетняя и отвечать за меня придется ему. Настала осень; в лесу уже нельзя было проводить ни массовки, ни занятия групп. Чаще стали приходиться ко мне. Отцу очень нравилось, что люди читают и разбираются в вопросах, но он очень боялся за себя и за меня. Всякий раз после их ухода он меня спрашивал, чем это кончится. Если меня заберут, то некому будет за меня хлопотать, и он как отец страдает. Изредка устраивали массовки зимой где-то в поле, в старой баньке. Ночью шли по пояс в снегу. Это было очень тяжело. Рабинский наладил связь с Гомелем, оттуда присылали литературу и ещё, что было нужно. Организация росла.

Настала весна 1907 года. Мачеха настояла, чтобы я дома не жила, а то я их погублю или сделаю несчастными. Мне пришлось

перейти к другому хозяину, так как прежний не мог держать меня со столом. Я теперь получала за работу стол и квартиру, а также жалование — гроши. Я и этим была довольна, ведь я уже сама на себя зарабатывала. При этом я продолжала быть в организации, пользуясь уважением всех товарищей. Как называется эта организация, я не интересовалась. Я только знала, что хотят царя сбросить, а когда сбросят, то всем будет хорошо. Я понимала, что чем больше людей, тем крепче сила, но каким образом это осуществится, это в моей голове не укладывалось.

Однажды вечером, когда мы с Р. Берлиной гуляли, к нам подошёл один товарищ из руководителей и сказал, чтобы мы домой не уходили, так как мы нужны. Поздно вечером к нам подъехал извозчик и велел ехать с ним. Ночь была безлунная. Когда мы выехали из местечка, то извозчик нам сказал, что хозяин лошади тоже наш товарищ, что везём мы листовки в деревню Бисовицки [Бесовицкая]<sup>1</sup> недалеко отсюда и что там листовки нужно будет сдать. Мы подъехали к одной избушке, где жил, кажется, Пимен-Бруй. Ему отдали один пакет, а остальное разбросали по деревне по дороге домой. Когда вернулись домой, уже светало. Работа была сделана удачно. Утром хотимчане рассказывали, что в деревне демократы, что там по улице листовки разбрасывают.

С наступлением лета опять начали проводить работу на воле. Выбрали место в роще. Чтобы не вызвать подозрения у местных жителей, одни приходили туда кружным путем, другие приплывали на лодках. Приехал и представитель из Гомеля. Массовка затянулась до позднего вечера. Вдруг патруль объявил тревогу. Масса от испуга хотела разбежаться, но Рябинкий крикнул не свойственным ему голосом: «Товарищи! Никто не трогайтесь с места. Первым делом нужно обеспечить безопасность приезжего товарища. Немедленно сомкнуть цепь. У кого есть оружие, держите его наготове». Так я узнала, что у наших есть оружие. Сразу сомкнули цепь из здоровых ребят, в числе которых был и Ёше-Иче (Иосиф Слуцкер). Все подчинились и сразу стали по местам. В первую лодку посадили приезжего товарища и ещё кое-кого, а потом постепенно отправляли остальных товарищей. Лодки были перегружены, шли по края в воде. Еле живые мы доб-

<sup>1</sup> Благодарю Леонида Смиловицкого за уточнение название деревни.



рались домой, кто потерял туфлю, кто что, но никто не выиграл. Домой вернулись утром. Выяснилось, что это были стражники, проследившие, куда шли люди. Но они боялись подойти, так как людей было много, а их мало. После этой ночки мы долго не могли опомниться.

Да вот я не написала, как мы праздновали 1-е мая. Накануне была массовка. Оратор говорил о значении 1-го мая, указал, как этот день надо отмечать. Постановили в этот день на работу не выходить, а явиться в назначенное время и место. Там были приготовлены лодки. Сначала лодки плыли поодиночке, а потом, когда доплыли до пустынного места, лодки съехались. Появился небольшой красный флаг. Был митинг, а потом пели Интернационал. Затем мы высадились на красивый безлюдный берег, читали газеты, брошюры, пели много запрещённых по тому времени песен. К вечеру мы вернулись домой. Этот день я никогда не забуду. Когда мы вернулись на работу, хозяева злились, приговаривая: «Доиграетесь. Возьмется за вас становой пристав».

Вскорости действительно подпольную работу у нас задушили. А дело было вот как.

У нас образовался кружок сионистов. Они назывались С.С. Их цель была организовать эмиграцию евреев в Палестину, так как по праву евреям полагается Палестина, но там турки и арабы. Нужно было, чтобы туда поехали богачи, купили у турков территорию и чтобы все евреи туда собрались. Мы все их (сионистов) осмеивали, даже разные насмешливые частушки о них сложили. Но вот однажды, в субботу, в 1907 году приехал представитель этих сионистов, тот, с кем они держали связь. И они организовали объединённую с другими организациями массовку для дебатов о том, чья партия лучше.

Собрались в роще одного помещика. Их оратор говорил, что здесь большой антисемитизм, и что он никогда не прекратится, и что единственный выход для евреев — ехать в Палестину. Наши возражали, что это неверно, что плохо, потому что самодержавие, а когда свергнут самодержавие, тогда будут равенство и братство. Бороться нужно всем вместе против царя, тогда сил будет больше. Наша борьба не национальная, а классовая. Если евреи поедут в Палестину, они всё равно будут гнуть спину на еврейс-

кого капиталиста, и, в конце концов, всё равно, на кого работать, на еврейского богача или на русского. Нужно здесь раз и навсегда покончить с гнётом капитала, тогда здесь будет наша родина.

Все долго спорили, кричали, забыли о том, что нужна осторожность. Увлеклись так, что уже думали, что революция пришла. Вдруг в самом разгаре дебатов закричали: «Стражники нас окружили!». И действительно, мы были окружены. Первое — мы помогли скрыться руководителю. У кого было оружие или нелегальная литература, побросали в кусты. Когда мы уже были совсем окружены, стражники крикнули: «Руки вверх!». Мы все испуганно повиновались. Впервые [нас призывали. — М.Б.] к ответу. Скомандовали: «Вперед!», вывели нас из рощи и погнали по улицам к приставу. Только когда мы вышли на улицу, я увидела, как много наших арестовали. Всё местечко сразу узнало эту новость. Те, у кого в это время дети не были дома, бежали навстречу, чтобы узнать, нет ли их среди арестованных. Мы шли целой демонстрацией. Кругом нас стражники. Со всех сторон сбегались жители местечка. Тем, кто оказался поближе к стражникам, попало прикладами. Одной Голубевой так попало, что она заболела легкими и умерла. Когда нас подвели к дому, где жил пристав, там собралась такая толпа народу, что арестованные стали смешиваться с вольными людьми. Стражники надрывались, работая нагайками и прикладами, но кое-кому удалось все же смешаться с толпой и сбежать. В это число и я попала. Я была меньше всех, и на меня стражники обращали мало внимания. Когда нас вели, я была посредине, а когда привели, то сразу отделилась к краю. Женщина из толпы заслонила меня собой, и я во все лопатки побежала прятаться к знакомым.

Всех задержанных посадили под арест, но на завтра выпустили под расписку, что они больше не будут собираться. Кроме того, приставу дали денег, чтобы он их освободил. Больше никто не осмелился собираться, потому что следили за каждым нашим шагом.

Конечно, насмешки сыпались на нас со всех сторон. Если раньше жители не знали, кто был в организации, то теперь, после ареста, все узнали. Каждый раз при встрече с нашими люди говорили: «Ну что, сопляки, сбросили Николая? Ещё мало вам попало. Нужно было бы больше».

В это время я работала у второго хозяина и жила у него. Это было рядом с домом моего отца. Мои братишки часто ко мне бегали, я же домой заходила только по субботам переодеться. Работала я много, даже по ночам. Мой хозяин был молодой, но хитрый, как лиса, и ненасытный в деньгах. Прежний мой хозяин был бедный, но человек хороший и меня очень жалел. А этот наоборот, типичный эксплуататор. Однако у меня другого выхода не было, и я покорялась судьбе. Однажды я решила от него уехать, и вот почему.

Как-то я сидела у них за столом и обедала. В это время зашли заказчики, в том числе и Гита Ривкина, дочь соседа-богача, взрослая девушка. Увидев, что я обедаю у хозяина, она удивлённо спросила: «Разве ты тут кушаешь? Как это? Единственная дочка у отца, и отец живёт рядом, а она у него не живёт». Эти слова попали в моё сердце, как пожар, и я не находила слов для ответа. Моё сердце облилось кровью, на глазах навернулись слезы, и, оставив обед, я села работать. Тогда у меня и появилась мысль уехать из Хотимска. Пусть сердце не болит, что я дома лишняя, и пусть люди не осуждают отца.

Я заявила хозяину, что уезжаю, но он не хотел меня отпускать, так как имел от меня хороший доход. Он отказывался дать мне расчёт под разными предлогами. Кое-что я с трудом всё же вырвала у него и сказала отцу, что уезжаю, объяснив и причину. Он вздохнул, но ничего не сказал. Он не предложил мне не ехать и жить дома, потому что боялся жены.

Возник вопрос, куда же мне ехать. У моего «милого» дядьки Алтера был родной брат, портной в Почепе; туда меня и отправили. Сразу нашлась подвода, и я уехала. Нужно было ехать примерно двое суток лошаадьми.

Приехала к нему. Такой же хозяин, как и все. Договорились на три рубля в месяц, готовый стол и квартиру. Да, перед отъездом я взяла явку в старом [хотимском] подпольном комитете, что означало, что если в новом месте существует подпольная организация, то я смогу быть с ними и не буду одинокой.

Начала работать в Почепе. Хозяину моя работа нравилась. Жил он хорошо. После работы меня заставляли мыть полы и выполнять другую чёрную работу. Однажды, уставшая после

работы, я ударилась головой о ломаный ламповый абажур и разбила его. В первую же получку с меня высчитали, как за новый. Я познакомилась с девочками, среди которых была одна дочь бедного часовщика Белодубровского. Девушке было 15 лет. Она была здоровая и энергичная, только в очках. Познакомившись с ней поближе, я узнала, что у неё подпольная квартира. Скрывавшиеся от полиции «политические» находили здесь приют и денежную поддержку. Она долго боялась, чтобы я к ней заходила, но когда я ей показала явку, тогда она перестала бояться и сказала, что организации нет, все арестованы и сосланы. Правда, существует денежная помощь среди оставшихся товарищей.

У неё я познакомилась с несколькими взрослыми товарищами, русскими и евреями. Все они с отеческой заботой интересовались моей жизнью. Узнав, как мне тяжело, они устроили меня к новому хозяину. При этом на старом месте, как и в прошлый раз, мне не уплатили ничего.

На новом месте хозяин был очень богатый. Он держал большую портновскую мастерскую и много пожилых мастеров. Его жена имела большую мучную торговлю. Это была его вторая жена, и у неё было много своих детей. От первой жены у него осталась одна безрукая несчастная девочка. И вот, несмотря на его богатство, та безрукая девочка выполняла всякую тяжелую работу, а когда мачеха возвращалась домой, она её безо всякой причины зверски избивала. Я это не могла переносить. Когда её били, я плакала, и за это хозяйка меня не любила.

Ходила я оборванная и босая. Однажды к нам зашел заказчик, взрослый парень. Осмотрев мой туалет и лицо, он спросил у рабочих, когда я отвернулась от смущения за свой наряд: «У этой девочки очень интеллигентное лицо. Почему она так оборвана?». А потом поинтересовался, кто я и откуда. Оказалось, что он дружил с моей мамой. Он очень огорчился, когда узнал, что моя мать умерла молодой, а я живу в таких условиях.

Между тем на безрукую девочку все больше и больше нападали. Однажды, когда мы работали и девочка держала ребенка, сидя у свободной машины, неожиданно появилась мачеха и ударила её в голову так, что девочка стукнулась лбом о машину и расшибла

его до крови. Когда девочка вскрикнула и я увидела окровавленный лоб, я целый день не могла успокоиться и решила и оттуда уйти.

Я не сказала своим товарищам, что ушла от нового хозяина, боялась, что они снова начнут обо мне беспокоиться. Я зашла в одну мастерскую спросить работу, а в это самое время к ним приехал портной из г. Стародуба. Он сказал, что хочет открыть мастерскую в селе Жерятин, недалеко, в 35 км от Почепа. Здесь он вербует себе рабочих, предлагает выгодные условия и оплачивает дорогу. Откровенно говоря, мне новый хозяин не понравился, но другого выхода у меня не было, и я поехала с новым хозяином в деревню. Ехали мы лошадьми, так как железной дороги там не было. Стоял месяц сентябрь, днем солнце, а вечером прохладно.

Опишу жизнь и быт моего нового хозяина. Сам он был высокий, молодой, красивый франт. Много говорил, а больше врал. Жена его, грязная, замасленная, злая женщина, и много ребят, одни мальчишки. В квартире со всех углов торчит нищета. Ребята оборванные и голодные, к тому же распущенные. Когда я переступила порог, меня охватил ужас: «Боже мой! Куда я попала и как отсюда выбраться?».

Первое, что мне бросилось в глаза, — это как хозяйка месила хлеб. Руки у нее были грязные, голова взлохмаченная, непокрытая. Месит и сморкает нос рукой и опять лезет в дежку с тестом. Вокруг стоят ребята и кричат: «Меси скорей! Мы есть хотим».

Мне стало страшно. И мне придётся так жить! Много проехав, я проголодалась; беру, что у меня осталось с дороги, сажусь кушать. Меня тут же окружают хозяйские дети и с завистью смотрят, как я ем. Я им всё своё раздаю и по указанию хозяина сажусь работать, но работа не идёт. Хозяин меня одобряет, говорит, что на новом месте всегда так.

От хозяйских детей я узнаю, что это село богатое, что оно Орловской губернии и что евреям здесь жить нельзя. В деревне живёт ещё один еврей-портной, богатый, он подкупает полицию и живёт. Мой же хозяин сдал цеховой экзамен, и это значит, что ему разрешается жить вне черты оседлости.

Тогда я у них спрашиваю, как же будет со мной. У меня же нет правожительства. На это дети отвечают, что их отец договорился

с урядником, и добавляют: «Будешь плохая, тогда урядник отправит тебя этапом домой, когда отец ему скажет». Я поняла, что моё положение стало ещё хуже.

Настала суббота. Весть о том, что хозяин привёз меня, дошла до рабочих того портного. Оказалось, что в деревне живут ещё несколько семей еврейских ремесленников. Когда я в субботу, пообедав, вышла на улицу, то как из-под земли около меня выросли еврейские девушки и парни. Оказалось, что тут работает мой земляк, брат моей подруги. Этот парень был старше меня; он удивился тому, как я сюда попала. Он познакомил меня со всеми, и мы пошли полем к молодёжи в ближайшую деревню. Было очень весело. Мы пели песни и играли. День стал клониться к концу, и мне не хотелось возвращаться к хозяину. Мои новые знакомые не советовали у него оставаться. Однако куда ехать и к кому? Кому я нужна? Всему миру чужая.

Мои знакомые получили разрешение у своего хозяина, чтобы я пожила у них, пока найдётся подвода, которая бесплатно отвезёт меня в город. А кто у меня там в городе? Меня там ждут? Презиравая весь свет и проклиная день своего рождения, я забрала свои вещи у хозяина и стала жить у малознакомых людей. Правда, отношение ко мне со стороны рабочих было исключительно внимательным, и это меня ободряло.

В это время у хозяина умер хронически больной, парализованный внук. Хоронить его нужно было в городе, так как в деревне не было еврейского кладбища. Итак, нужно было везти покойника в Почеп. А у верующих евреев существует закон, что покойника-еврея нельзя доверять не еврею и что при нём должна постоянно присутствовать хотя бы одна еврейская душа. Наняли подводу для покойника, а ехать с ней никто не хочет. Жребий пал на меня. Понятно, моего согласия никто не спрашивал, так как ехать мне было необходимо, да и не на что и не у кого продолжать сидеть в деревне. Меня посадили около покойника и крестьянина-извозчика, и мы выехали. Немного проехали, как наступила ночь, холодная и тёмная. Ехали мы, сколько мне помнится, лесом. Я сидела и боялась шевельнуться; закрыла глаза и боялась их открыть, чтобы не увидеть покойника. Мне всё время казалось, что он бежит за нами вслед. В живых я его не видела, а тут он

представлялся мне страшным. Вот как мне жилось сладко, и вот почему моё здоровье подорвано.

Наконец мы приехали в Почеп. Был час ночи. Проезжая по городу, я увидела своих товарищей — Маню Белодубровскую и Мейлаха Ципина. Я их окликнула и рассказала про своё путешествие. Они позвали меня с собой, но я им сказала, что на возу покойник и что нужно его сдать похоронному обществу. Тут Ципин совсем расстроился [за меня. — *М.Б.*] и побежал куда надо, а меня освободил, послал ночевать к Мане, приказав строго, как отец: «Никуда не уходи, пока я за тобой не приду!».

Придя к Мане, я ей немного позавидовала. У неё был свой приют. Она никому не была лишней. У неё нет матери, но все же её отец, хоть и бедный, вторично не женился, и мачехи у неё тоже нет. Почему я несчастна во всех отношениях? Если бы не эта Маня, где бы я сейчас ночевала? Отец обо мне не может заботиться, а мать не встанет [из могилы. — *М.Б.*] посмотреть на меня. Так, обливаясь горькими слезами, я под утро заснула.

Проснулась я, когда Маня уже была на работе, а Ципин сидел и беседовал с Маниным отцом. Отец Мани был добрый ласковый старик; он не отпустил меня без завтрака. Но вот мы с Ципиным ушли. Выйдя на улицу, он мне сказал: «Пойдём к моему хозяину. Я с ним договорился, ты будешь со мной работать, и я тебя в обиду не дам».

Итак, я стала работать у нового хозяина. Он был, как и все хозяева, но по натуре тихий. Жена — красивая, молодая, глупая женщина и большая лентяйка, неаккуратная, домашнюю работу не умеет делать. Двое детей — мальчик и девочка, хорошенькие. Здесь мне понравилось больше, чем везде, где я прежде была. Все рабочие были мужчины, старше меня, они относились ко мне с уважением.

Когда я немножко поработала, хозяйка попробовала заставить меня мыть полы, но рабочие выразили протест хозяину, и я от этого избавилась. Работала я, как и все в то время, много, а получала мало. Наступила осень, а я к зиме не одета. Даже старого пальто, и того нет. После того как мои вещи забрали погромщики, в том числе и пальто, другого мне некому было справиться, и я ходила в одном платье. Хорошо ещё, что я жила там, где работала, и поэто-

му не простужалась. Но конечно, о том, чтобы выйти погулять в субботу, нечего было и думать.

Тогда мои товарищи по работе договорились между собой, что тот, кто первый получит у хозяина свои заработанные деньги, должен купить мне, что одеть. Я не знала об этом уговоре, и вдруг мой старый знакомый Ципин предложил мне идти с ним покупать для меня недорогое пальто. Я даже испугалась такому предложению. Живя всё время в тяжелых условиях, я никому не доверяла, наслышалась много о том, что есть мужчины, которые стремятся расположить к себе девушек, в особенности одиноких. Я очень расстроилась от этого предложения, это раз. Во-вторых, я испугалась, что из-за этого предложения мне придётся искать другое место работы. Однако как раз этот Ципин был человеком очень благородным, он только хотел, чтобы я не простудилась. Тогда рабочие попросили хозяина, чтобы он уговорил меня взять эти деньги в долг с условием, что он будет ежемесячно удерживать его из моей зарплаты. Я поверила хозяину, и мы пошли все вместе и купили мне хорошенькую черненькую жакеточку и галоши. Все же я чувствовала себя плохо, пока не выплатила долг. Выплатив, я их всех поблагодарила и была очень довольна, что оделась на свой заработок.

Зима подходит к концу. У хозяина есть сестра — невеста на выданье, вполне богатая. К ней ходят и ездят женихи, но не берут. Но странно, познакомившись со мной, они просят рабочих, чтобы мне передали, что я им нравлюсь. А я беспокоюсь, чтобы из-за этого не лишиться работы. Даже хозяйка мне однажды сказала, что я счастливая, потому что всем нравлюсь. Я поняла, что её это не радует, а наоборот. Тогда я решила уходить из дому, когда приезжают женихи. Если это было после работы, то я уходила через сени к хозяйке квартиры и просиживала там вечера.

Но вот однажды из Брянска приехали отец с сыном искать для сына невесту. Они были родственники моих хозяев, к ним и заехали. Они приехали как раз во время работы. Я была плохо одета, и ещё, как единственная девушка среди мужчин, я стеснялась при посторонних. Гости были богаты. Жених красивый и стройный, хорошо одет, на вид лет 25–28. О том, чтобы уйти с работы, нечего было и думать, так как задание было срочным.



Отвернувшись к окну и потупив голову, я продолжала работать. Мои товарищи, поняв причину, очень надо мной смеялись, и это ещё больше меня огорчало.

После дороги гости привели себя в порядок и разошлись по своим делам, а я свободно вздохнула. Вечером, после работы я ушла гулять. Возвратившись домой, я застаю стол, уставленный угощениями, а за столом приезжие гости и ещё местные гости. Моё появление почему-то произвело переполох. Я очень смутилась и, сказав, что мне нужно уйти, вышла к хозяйке квартиры и не возвращалась, пока все не разошлись. Наутро хозяйка с ехидной улыбкой сказала мне, что я понравилась приезжим гостям, и сыну, и отцу. Я хотела ответить ей что-нибудь грубое, резкое, но, осознав, что я подчинённая, проглотила обиду и ограничилась молчанием. Эта история причинила мне много волнения. Я хорошо понимала своё положение, и от таких разговоров у меня душа разрывалась на части. Ведь я уже подрастала, люди смотрели на меня, как на невесту, а мне не с кем даже поговорить по душам. В то время я не желала большего счастья, чем поговорить хоть два слова с родной матерью. Я знала, что мала по возрасту, но, взглянув в зеркало, видела, что я в действительности большая, выгляжу старше и что люди недаром не верят, что мне мало лет.

Когда подошло время обеда, я пошла мыть руки. Тут ко мне подходит отец жениха и говорит со мной о разных предметах, в частности спрашивает, откуда и кто я такая. Оказывается, он всех наших знает. Тогда он меня начинает уговаривать выйти замуж за его сына. Он расхваливает своего сына и его богатство и говорит, что готов ехать к моему отцу за согласием. Я, смутившись, ответила отказом, мотивируя тем, что я ещё мала и успею замуж. Уезжая, они просили хозяев уговорить меня, но всё было бесполезно.

Настала весна. Работы было много. От Пурима до Пасхи всего один месяц, и этот месяц я почти не спала, всё работала. Правда, хозяин обещал подарок за выполненную работу. Перед Пасхой я ходила как тень, заболела, голова кружилось, сердце болело. Вот весна прошла, и наступило бессезонное время. Работы было мало, рабочие разъехались. Уехал и мой старый товарищ Ципин. Я болела и пошла, по совету хозяина, к врачу. Прослушав меня, врач нашел, что я переутомлена и нуждаюсь в отдыхе. Я написала

домой. Отец забеспокоился, но написал, что ехать домой нецелесообразно, так как отдохнуть у мачехи мне не удастся. В заключение отец писал, что, если я нуждаюсь в отдыхе, то должна ехать к тётё в Клинцы. Хотя со смерти матери я знала, что у меня нет дома, тут это снова подтвердилось.

В это время я получила письмо и маленькую посылочку от тётё Геси из Клинцов. В посылке был модный в то время <...> пояс и белый летний зонтик. Хотя тётя меня к себе не приглашала, всё же я решила ехать к ней. Я поступила так из-за безвыходного положения и от сознания своей участи — являться туда, где во мне не нуждаются. Итак, я получила расчёт у хозяина, пообещала ему вернуться к сезону и уехала к тётё в Клинцы.

1908 год. Тётя Геся меня хорошо приняла. Я им понравилась, как они выразились, стала человеком. Я им сказала, что заболела и нуждаюсь в отдыхе. В это время в Клинцах стояла хорошая погода. В закрытом балагане выступал приезжий цирк какого-то Андржеского. Для того чтобы заинтересовать публику, после показательных цирковых номеров разыгрывали крупные вещевые выигрыши. Это притягивало многих, и сбор был большой.

У дяди был мальчик лет двенадцати по имени Давидка, который потом умер. Тётя ему и сказала пойти со мной и показать мне цирк. Мы с ним пошли покупать билеты. Хотя мне было только шестнадцать лет, я выглядела взрослой. Когда мы пришли в цирк, то, как это обычно бывает в провинции при виде нового человека, каждый хотел узнать, кто я. Стали к моему братишке подходить знакомые и тихонько спрашивать, кто я. Подошла и Фрейда Медведева. Услышав, что я родственница, она, словоохотница, завела со мной разговор, спросила, где я жила, надолго ли сюда, и не переставала меня хвалить, чего я очень не любила. Она сказала, что тётя, наверное, меня больше никуда не пустит. Во время нашего разговора её отзывает в сторону маленький черненький парнишка и, я слышу, спрашивает, кто я такая. Не успела я ответить, как он подскочил ко мне и говорит: «Разрешите с Вами познакомиться. Я Ваш родственник, Медведев». Я так растерялась от такого неожиданного и, по моим тогдашним взглядам, нахального поступка, что не нашла слов для ответа. Опомнившись немного, я попрощалась, и мы с братишкой ушли домой.

Дома тётя спросила, купили ли мы билеты, но, посмотрев на меня, поняла, что со мной что-то произошло. Братишка ей всё рассказал, и она так расхохоталась, что мне ещё больше стало обидно, и я заплакала. Она, конечно, поспешила меня успокоить и объяснила, что я уже не маленькая, и что это хорошо, что мной люди интересуются и что этот парнишка очень хорошего поведения. Но я всё стояла на своём и утверждала, что, если бы он был хороший, он бы так не поступил. Тогда мне тётя и говорит: «Не плюй в лужу, придётся напиться». Это значит, что над людьми смеяться не нужно, что из чужих они могут стать своими. На это я ответила, что мне пить не придётся, и разговор был окончен, но в цирк я не пошла, потому что боялась встретиться с моим новым знакомым.

Я немного отдохнула и поправилась. Привыкнув к работе, я скучала без неё. Тётя мне заявила, чтобы я никуда больше не ехала и устраивалась работать в Клинцах. Ей не нравилась моя профессия мужской портнихи, и она старалась определить меня к дамскому портному. Однако ввиду того, что я с этой работой была мало знакома, дамские портные не хотели платить, и я решила устроиться всё же по своей специальности. Однажды на улице я встретила старого товарища по организации, я немного работала с ним в Хотимске. Он искренно обрадовался встрече со мной и посоветовал пойти работать в их мастерскую, то есть к его хозяину, так как начинается новый рабочий сезон.

Моего нового хозяина звали Перлин. Это был старый еврей с бородой до пояса. Мне платили 13 рублей в месяц, без стола. Жить нужно было у тётки и кушать тоже у неё. Хозяин был богатый, у него работало человек пятнадцать, много семейных, в том числе и его родственники. Из женщин я была одна. Рабочие были довольно приличные, ко мне, как и всюду, относились с уважением. Хозяин, правда, тоже старался мне угодить, но это потому, что я была племянницей Белкина, его богатого заказчика. В то время у меня в Клинцах было много родственников. Это были братья моей матери и их дети. До моего поступления на работу они за мной бегали и интересовались мною, но когда они узнали, что я работаю у портного, да еще с портными (мужчинами), они боялись потерять свой авторитет из-за меня. Я это поняла и сама стала избегать встреч с ними.

Постепенно я познакомилась с девушками из моей среды и с ними не скучала. Работала я много, и в рабочие дни гулять не хотелось, так как я возвращалась домой уставшая. Субботние дни я проводила у своих знакомых. Мои же двоюродные сёстры строили из себя неведомо что и поэтому были вечно одни. Встречая меня с весёлой компанией, они часто просили познакомить их с моими подругами. На это я, смеясь, отвечала: «Зачем вам терять свой авторитет? Вы — хозяйские дочери, а мы — ремесленники. Нам друг друга не понять». Они жили за счёт родителей, а мы за счёт своих рук.

Время шло к осени, к осенним еврейским праздникам. Рабочие говорили, что у хозяина легче вырвать зубы, чем заработанные деньги. Платить он не хотел, но мне первое время платил хорошо. Получив у хозяина первые деньги, я сразу же послала отцу 10 руб. к празднику. Я была так рада, что наконец могу помочь отцу. Я и зимой несколько раз посылала ему [деньги. — *М.Б.*].

В это время к нам поступил на работу один парень из Рогачёва. Его звали Давид, а фамилия — Гоз. Он уже был после призыва, хороший мастер, хорошо зарабатывал. Такой стройный красавец, я таких мужчин не видела. Поскольку я привыкла ни на кого не обращать внимания, я и на него обращала мало внимания. Ему выделили рабочее место у моего стола. Хозяйская дочка от него сходила с ума, и меня попросили, чтобы я ему посоветовала к ней свататься. Сам хозяин просил меня об этом. Мне было даже неловко. Такое поручение было мне совсем не по вкусу и не соответствовало моему возрасту. Проработав немного, он попросил принять его в наше общество. Вижу, что парень приличный, начитанный и такой красивый, моим девочкам понравится. Я удовлетворила его просьбу, и, как и предполагала, девочки были довольны.

Поскольку я обещала хозяину поговорить о его дочери, то они меня часто об этом спрашивали. Когда же я наконец с ним на эту тему заговорила, он обиделся и ответил, что за деньги своих чувств не продаёт, что он с удовольствием выбрал бы девушку без приданого, вроде меня. Я сделала вид, что не поняла его намёка, а хозяину, когда он снова спросил, объявила его отказ. К нему, конечно, сразу отношение изменилось к худшему, но он

терпел и продолжал работать. Хотя я тогда мало понимала, но я видела, что он относится ко мне с большим уважением, но боится заговорить, боясь отказа. Он попросил свою знакомую пожилую женщину, чтобы она об этом поговорила с тётёй Гесей. Когда я вечером вернулась с работы, тётя мне сказала об этом, расспросила о нём подробно и вообще спросила, нравится ли он мне. Я очень возмутилась, что меня хотят в таком возрасте отдать замуж, и ответила, что как человек и товарищ он очень хороший, а о другом я не думаю. Получив такой ответ, он решил уехать.

В это время приехал мой отец устраиваться в Клинцах. Тётё это не понравилось, она не хотела, чтобы бедный брат её компрометировал. К тому же прибавятся лишние заботы и расходы денег. Короче, она запретила ему это делать. Он это отлично понял, но так как вернуться в Хотимск он не хотел ввиду материальных обстоятельств, то он решил опять ехать в Екатеринославль, где когда-то жил. Это был большой город, где евреям можно было жить и даже голодать, потому что там было много евреев. Конечно, среди них были и богатые, но на 90 % это была беднота, которая ежедневно бесполезно слонялась в поисках заработка на кусок хлеба. А ночи они проводили на улице, так как не имели, чем заплатить за ночлег. Вот такая участь ждала и моего отца.

Когда он уезжал, мы с Давидом проводили его на станцию. Я их познакомила. Отец слышал о нём от тётки и, улучшив момент, с ним заговорил. Он спросил у Давида адрес его отца в Екатеринославле, а потом сказал мне тихо: «Если отец его богатый, то отдам [тебя. — *М.Б.*] за него, а если бедный, не пущу». Вот как смотрели на партию [брак. — *М.Б.*] в то время. За богатого-то ему и не нужно было моего согласия. Отца в этом, конечно, винить не приходится. Просто, прожив всю жизнь в бедности, он хотел, чтобы его дети не нуждались. После отъезда отца из-за испорченных отношений с хозяином Давид рассчитался и вскорости уехал к отцу в Екатеринославль. Вскоре он прислал письмо, в котором писал, что хорошо устроился и нашел и для меня хорошее место.

Я, конечно, никуда не собиралась ехать, так как не могла забыть свою жизнь в Почепе, тем более что у тётки мне было неплохо. Если и бывали незначительные обиды, то я старалась их не замечать, так как они мне ничем не были обязаны и как есть, на

том спасибо. Другие дядья и тётки меня и на порог не пускали, а здесь и угол дают, и кормят, и я за это была очень благодарна и не думала никуда ехать. От отца я получала печальные письма о том, что он ещё ничего не заработал и всё надеется, что найдет своё счастье. Он также написал, что родители Давида живут в подвале и очень бедны и что за такого он меня никогда не отдаст.

Но Давид продолжал писать. Его письма было приятно читать: красивый почерк и богатые мысли придавали им интерес. Приятно было получать такие письма. Они были товарищеского характера.

Настала весна. Отец, промучившись в Екатеринославле и не найдя счастья, вернулся в Хотимск, но тяжёлая его жизнь там не прошла даром. Питаясь там всухомятку, он по приезде домой заболел желудком.

1909 год. Примерно в мае, приехав домой, я нашла отца больного и узнала, что у него серьёзная желудочная болезнь (рак) и что хотимские врачи советуют ему ехать в Киев на операцию. Я, конечно, порядком испугалась этому ненужному сюрпризу, тем более что мне сказали, что я должна с ним ехать. Показали его клинцовским врачам, но и они ничего хорошего не сказали. Делать нечего, нужно ехать. Где же взять денег на дорогу? Я взяла расчёт у хозяина. Он рассердился и не доплатил мне много денег, но я и тому, что он дал, была рада. Немного дала тётя. Предварительно, как и все богатые люди делают, помогая другим, она прочла мне нотацию о том, как нужно обращаться с деньгами, и даже своими, и о том, что нужно ценить каждую копейку, потому что она очень тяжело достаётся, и тем более надо беречь чужие деньги.

Я, будучи примерно в возрасте шестнадцати лет, никогда прежде не бывала в большом городе. Бедно одетая, с малыми деньгами и больным отцом, я должна была впервые ехать в большой город. Мне было страшно при одной этой мысли. Перед нашим отъездом тётя дала мне адрес, куда заехать, так как в то время еврею въехать в Киев было непросто. Сам Киев был вне черты оседлости, и евреям там жить не разрешалось. Но там были люди, которые имели правожительство, это были николаевские солдаты, такие кантонисты, и к ним можно было заехать. Так как они подкупали городских, у них можно было немного пожить. Еще

тётя дала нам письмо к богатой родственнице на случай, если мы сами не сумеем устроиться, чтобы она нам тогда помогла.

Ехали мы поездом. Мой отец с виду не был похож на серьёзного больного, но всё же всю дорогу лежал. В вагоне с нами ехало много пассажиров, в том числе некий стародубский еврей по фамилии Либерман. Заинтересовавшись отцом и узнав, что мы хотим в больницу и что, по всей вероятности, нам, бедным провинциалам, нелегко будет это осуществить, он пообещал нам помочь. По его словам, один его близкий родственник имел большое отношение к больнице. Либерман дал нам свой адрес и сказал, чтобы мы к нему обратились в случае нужды.

В Киев мы приехали благополучно, заехали по тому самому адресу, которым нас снабдили, как неопытные, стали расспрашивать, как быть. Нам сказали, что в Киеве есть еврейская больница. Она называется больницей Бродского<sup>1</sup>. Эту больницу содержат еврейские богачи для бедных евреев. Весной в эту больницу съезжаются больные со всей России, потому что не каждый в состоянии платить за проезд на поезде, а весной открывается река, и по ней можно приехать гораздо дешевле.

Прежде чем поехать в больницу, мы показали врачу. Врач оказался таким грубым, что я это никогда не забуду. Когда отец отвернулся достать деньги, а я протянула руку за рецептом, то он грубо крикнул: «Платите раньше!». От него мы не узнали, как нам поступить, и поехали в еврейскую больницу. Опишу немного больницу. Красивый въезд, как в хороший парк. Целые кварталы больниц для разных заболеваний. Больных без конца. Неизлечимо больных не принимают. Они валяются тут же, на грязном полу, стонут, кричат, мучаются. Люди, приехавшие с безнадежными больными, ходят по комнате в отчаянии. Что делать с такими больными? Домой не довести, здесь негде и не на что жить. Вот где я насмотрелась на еврейскую нужду и горе!

Так называемая «ожидальня» представляла собой большущий вокзал, грязный, накуранный. Скамеек было мало. Больные лежа-

---

<sup>1</sup> Еврейская бесплатная больница Киева, построенная в начале 1880-х годов И.М. Бродским, в 1908 году приняла 3271 стационарного больного и 25 821 амбулаторного больного (Киев // Еврейская энциклопедия. СПб., 1908–1913. Т. 9. С. 529).

ли, как я уже говорила, на полу. Евреи оборванные, измученные, видно, жили всю жизнь в сплошной нужде. Против этих несчастных мы с отцом выглядели счастливыми. К нам бросились просить подавания, и стыдно было сказать, что у нас своего ничего нет; пришлось им подавать, так как у них и чужого не было. Пока дошла наша очередь к врачу, я успела наволноваться вдоволь от этой до тех пор незнакомой мне картины. Осмотрев отца, врач сказал, что нужно ехать домой, так как мест в больнице нет. Не помогли никакие просьбы, и мы возвратились на свою квартиру.

Стали думать, что же теперь делать. Решили обратиться к тому Либерману, который в поезде обещал помочь. Мы также решили разыскать наших родственников, адреса которых не имели. Отец не мог встать, у него сильно заболела нога. Как потом выяснилось, это было осложнением его болезни. Итак, мне впервые пришлось знакомиться с таким большим городом, как Киев<sup>1</sup>, и при таких ужасных обстоятельствах. Идя по улицам, я расспрашивала адреса. Люди обращали внимание на моё одеяние, как в городе смотрят на деревенскую. Я делала вид, что не понимаю. Мне было не до насмешек. Я чувствовала, что моё положение ужасное, но старалась не отчаиваться, иначе всё пропало.

Во дворе, где мы жили, была турецкая булочная и много рабочих. Я так их боялась, что перестала сама проходить по двору, ждала, пока кто-нибудь пойдет. На улице, если я спрашивала у молодых мужчин, как пройти, они так мерзко на меня смотрели, что я перестала у них спрашивать и обращалась к женщинам.

Город красивый. Много зелени. Прохожие богато одеты. Ходят трамваи. Разъезжают на рысаках. Пары ходят об руку [под руку. — М.Б.], в то время как у нас это не было принято, чтобы мужчина открыто ходил с женщиной об руку. Люди неприветливые, злые. Пока что узнаешь, приходится у нескольких человек спрашивать. Лавочники не хотят отпускать мелкие покупки. Если хочешь разменять 10 копеек, то нужно что-нибудь купить, иначе не разменяют. Словом, по сравнению с нашими людьми эти были звери.

Найдя адрес Либермана, я не сразу решилась войти. Это был большой дом на Крещатике, принадлежавший некому Рошалю,

---

<sup>1</sup> В январе 1909 г. в Киеве насчитывалось до 50 тыс. официально зарегистрированных евреев из 470 тыс. жителей города (Там же. С. 526).



владельцу, как я потом узнала, фабрики золотых изделий. Увидев меня, швейцар не хотел меня пускать, а сама я боялась туда заглянуть. Долго я ходила кругом и около, пока случайно не увидела того самого Либермана. Или он на самом деле уже забыл о нашей встрече, или пожалел о своём обещании, но сделал вид, что он меня не знает. Наконец, узнав, повёл меня в этот таинственный, каким он тогда мне казался, дворец. Когда я зашла в эти палаты, то у меня дух захватило от роскоши и богатства, которые я там увидела. Сердце защемило от обиды. Почему мой отец должен лежать больной из-за бедности, а также тысячи евреев, которых я видела в больнице, которые неизвестно зачем живут и что их ждёт впереди, в то время как здесь такие богачи, сытые, здоровые, ничего не делая, живут в роскоши?

Меня ввели в большую меблированную комнату с красной обстановкой, по-видимому, из красного дерева. На стенах роскошь: сами обои, портреты, картины, люстры, ковры, бюсты, разные фигуры приковали моё внимание. Не успела я достаточно рассмотреть комнату, как в двери кто-то показался и сказал: «Пожалуйте!». Я прошла в ещё более роскошную комнату, но черного стиля. Почему она черная, я не поняла, очень уж она была мрачная. Это был кабинет хозяина. Всё черное было отделано серебром и золотом. Во многих местах сверкали большие камни. От этой непривычной мне обстановки у меня заплетался язык, и я не могла связать свою речь. Узнав, зачем я пришла, Либерман обещал помочь, чтобы отца приняли в больницу. Уходя, я заплатила швейцару, чтобы он меня назавтра пустил.

На следующий день, когда я пришла, он мне сказал, что узнал в больнице, что у отца запущенный рак желудка и что оперировать поздно; поэтому его в больницу и не приняли и не примут, потому что тех, кого нельзя вылечить, в больницу не принимают. Вернувшись, я сообщила отцу, что его не примут из-за отсутствия мест. Он сразу всё понял и, вздохнув, сказал, что нужно ехать домой. Так как в Киеве были его родственники, он перед отъездом хотел с ними повидаться. Адрес одних родственников у нас был, а других не было, и мне с большим трудом удалось их разыскать. Правда, они были к нам внимательны и сразу пришли навестить. Была я и у той родственницы, Могилевкиной, к

которой тётя Геся дала мне письмо. У кого бы я ни бывала, все по сравнению с нами были богачи. В особенности на меня произвело впечатление у Могилевкиной. Большая, красивая, хорошо обставленная квартира. У стола сидел выхолонный сын, парень в золотых погонах. Как Могилевкина потом объяснила, он был студентом какого-то университета. Она даже не соизволила меня с ним познакомить, чтобы не подорвать свой авторитет в глазах сына за бедных родственников. Меня это в ту пору очень задело, и в то же время брала зависть, почему он студент и может учиться на двойки и всем обеспечен, а я так хорошо училась, но должна была стать портнихой, владеть жалкую нужду и, вдобавок, очутиться в большом незнакомом городе, где евреям жить нельзя, с больным отцом, без денег, когда ежеминутно встаёт вопрос, доведу ли я его живым домой? Я на каждом шагу проклинала день своего рождения и приходила к заключению, что детей должен иметь богатый, а бедному они приносят только страдания и их дети тоже страдают. Когда я подала Могилевкиной письмо от тётки, она о ней, конечно, много спрашивала, но об отце очень мало. Не будь она мне нужна, я бы сразу ушла, но мне у неё нужно было взять денег, а она начала со мной торговаться, чтобы сэкономить несколько тёткиных рублей. Мне всё это надоело, и я взяла, сколько она дала, и сказала, что иду записать отца на прием к профессору Вагнеру, так как нельзя уехать, не побывав у такого светила, как проф. Вагнер.

Когда я наконец добралась до приёмной профессора Вагнера, швейцар сказал, что визит к нему стоит 25 рублей и что он меня может записать только через две недели. Меня это ошеломило, потому что сидеть в Киеве еще две недели нам было уже не по средствам. Тогда я, помимо моего желания, обратилась к Могилевкиной, чтобы она со мной съездила к швейцару профессора, заплатила ему отдельно и уговорила записать отца на близкое число. Она не отказала мне в этом, и мы были записаны на приём через два дня.

В Киеве я только узнала, что такое жизнь во всей её наготе. Жизнь там в то время была ключом. Люди друг другу грызли горло из-за денег. Бедные девушки попадали в лапы богатых негодяев, а после они оказывались на улице либо в домах терпимости.

Когда я вскоре после приезда спросила у пожилого мужчины, как пройти на какую-то улицу, он мне нахально улыбнулся и назвал какой-то дом, сказав: «Наверное, туда Вам и нужно». Я, конечно, не поняла, какой это дом, но его рожа внушила мне страх, и я бросилась от него бежать.

Когда я об этом рассказала Могилевкиной, то, проезжая мимо этих домов по дороге к профессору, она мне на них показала и объяснила подробно, что это за домики. Наружность их ничем не отличалась от других, только они были выкрашены в красный цвет. Окна были завешены. Во дворе никого не было видно. На одном крыльчке стояли несколько молодых девушек, одетых хо-рошо, но в форму горничных, в белых капорах и передниках, нахально улыбаясь прохожим. По-видимому, это и были горничные. Как объяснила Могилевкина, теперь, днём здесь спят, а ночью эти домики ярко освещены красными фонарями, сюда собираются распутные мужчины, преимущественно богачи, и здесь сыплют деньгами.

Каждый раз, возвращаясь домой, я находила своего отца в полном отчаянии. Он прямо плакал, боясь за моё долгое отсутствие, чтобы со мной что-либо не случилось в этой бешеной людской волне, где день и ночь дышит безобразием.

Немного опишу нашу квартиру и хозяев. Хозяева были старые евреи, муж и жена. Но как они жили! Днём они работали в квартире, а ночевать ездили на Подол. Это пригород Киева, где евреям можно было жить. Этот Подол был так насыщен евреями, что негде было устроиться на ночлег. Бывали случаи, что они заработаются поздно, и вдруг ночью облава на евреев, как на волков. И тогда их гонят целыми толпами, этапным порядком на родину. Были и такие соседи, что жена имела правожительство, а муж не имел или наоборот. Так жалко было смотреть, как вечером отец или мать прощается с семьёй, детьми и уезжает на Подол ночевать. На меня это производило сильное впечатление. Почему евреев так притесняют? Неоднократно видишь на панели пьяного любой национальности, и он лежит спокойно, как свинья в болоте, и он имеет право жить, где ему угодно. А несчастный еврей, голодный, оборванный, нищий в поиске своего счастья не имеет никаких прав. Его, наравне с преступниками, гонят пешком

этапным порядком, и он проходит на своём пути все пересыльные пункты и тюрьмы.

Ужасней всего была участь еврейских девушек. Одним хотелось учиться, а другим служить, но им не давали правожительства, потому что они хотели заниматься честным трудом. Вместо этого им предлагали получить «желтый билет» — документ свободной женщины, и они должны были в этом случае в определенные дни являться на обследование. Вот как высоко стояла русская цивилизация! Что честной девушке не позволялось, свободной было можно. Было немало честных девушек, которые пользовались этими документами, чтобы жить вне черты оседлости, и вели всё же достойную, честную жизнь. Вот о чём я узнала там, и ещё могла бы о многом написать, но всё не напишешь.

В течение того времени, как мы жили на квартире, было несколько облав, о которых хозяин узнавал заранее и высылал нас на улицу. Однажды днём неожиданно крикнули: «Облава!». Что делать? Сама я могу выскочить, но отца приготовить не успею. Что делать? Вдруг больного отца заберут? Не будут считаться с тем, что он больной, и он умрёт, не доходя до ближайшего участка. Я металась по комнате, как отравленная. Тут появился хозяин и говорит, что за отца он берёт ответственность на себя, а я должна сейчас же покинуть квартиру. Выйдя во двор, я встретила полицейских, которые шли в нашу квартиру. Я в тревоге ходила около дома и следила, когда они выйдут, не поведут ли они с собой моего больного отца. Минуты тянулись как вечность. Наконец они вышли, гоня перед собой группу евреев, но отца среди них не было. Я бросилась в квартиру. Отец лежал взволнованный от испуга. Он, бедный, не так беспокоился за себя, как за меня. Успокоив его, я спросила, как было. Он рассказал, что хозяин завесил его простыней и велел укрыться с головой. Когда надзиратель спросил, кто там, хозяин ответил, что роженица. Заглянув за занавеску и не увидев лица, он вышел. По-видимому, у них с хозяином был договор, чтобы больных не трогать.

Настал день приёма у профессора. Отец понял свое безнадёжное положение. Когда мы в саду ждали своей очереди у профессора, отец, положив свою красивую курчавую голову мне на колени, заговорил. Он беспокоился, что будет с моим братом Абрамом, ко-

торому только 13 лет. Он считал, что я уже стала человеком, а его было жаль. Я очень удивилась, почему он беспокоится только об Абраме, когда ведь есть еще маленький братишка. Почему о нём ни слова? Сколько раз я ему посылала подарки. По-моему, он уже должен был учиться в хедере. Я у отца столько раз спрашивала о нём, но он уклонялся от ответа. Тут я снова спросила: «Почему ты о нём не заботишься?». Ответа не было. Я посмотрела на него и увидела, что по его бледному, худому лицу текли крупные слёзы. Я поняла, что брата уже нет в живых, и спросила у отца, когда же он умер. Я пообещала ему при этом держаться спокойно и не плакать. Да в эту минуту я и не знала, о чём раньше плакать: или о том, что умер мой братишка, или о том, что мой отец умирает, такой молодой, не видевший в жизни ничего хорошего. Все же он для меня был и отцом, и матерью. И я вот-вот останусь круглой сиротой. Когда умирала мать, я ещё не узнала всех ужасов жизни, как теперь. Трудно описать пером, как мне было в тот момент тяжело.

Отец мне, плача, рассказал судьбу моего братишки. Оказывается, он умер через несколько дней после моего отъезда из Хотимска, примерно в 1907 г. Он заболел корью, так как присматривать за ним было некому. Открыли у его кровати окно и простудили. Он получил воспаление мозга и умер. Ведь при мне он болел дифтеритом, и я, будучи ребёнком, его вылечила, а тут взрослые люди — и не смотрели, и такой красивый и здоровый ребёнок погиб. Отец в конце сказал, что с тех пор как ребенок умер, он жизни не рад и что он, по-видимому, и сам скоро отправится к нему.

В это время подошла наша очередь. Когда мы очутились в кабинете профессора, то в первое время мне было страшно от непривычной обстановки. Большая комната, посреди большой стол, вокруг которого сидели врачи. Сам профессор Вагнер, высокий и полный, своей внешностью вполне подходил к своей профессии. Осмотрев отца, он поставил диагноз и предложил присутствующим там врачам тоже осмотреть больного. Они разговаривали на латыни и что-то записывали в книгу. Потом он обратился к нам и сказал, что нужно ехать домой и что с собой он даст лекарства. Когда мы вышли из кабинета, профессор позвал меня обратно. Спросив меня, кем я являюсь больному, он сказал, что положение безнадежное — запущенный рак. Если бы мы приехали хоть на

месяц раньше, то можно было бы оперировать, но теперь нужно срочно ехать домой. Выйдя к отцу, я держала себя храбро, несмотря на эти два удара, которые я только что получила. Но отец всё понял. Вернувшись на квартиру, мы стали готовиться к отъезду. Денег у нас не хватало на поезд, поэтому мы были вынуждены плыть пароходом до Гомеля. Дорога заняла больше времени. Мы благополучно добрались до Клинцов. Отец очень просил, чтобы его отвезли в Хотимск, но врачи не советовали, не надеялись, что его довезут. Это было весной 1909 года. Так как с виду он был ещё ничего, тётя сняла ему дачу, и мы целыми днями были с ним в лесу. Однако это продолжалось недолго, состояние его здоровья стало хуже, и мы переехали к тётке. Скоро его состояние резко ухудшилось. В ту ночь мне снилось, что покойная мама меня будит и говорит: «Сегодня умрёт твой отец, и ты останешься одна. Береги брата». Утром отец меня послал за врачом и попросил, чтобы ему дали молитвенник. Ничего не подозревая, я ушла.

Когда я вернулась, то во дворе и в доме было уже много чужих людей. Я удивилась, но, войдя в комнату, пошатнулась от ужаса. Отец лежал на полу (По еврейскому религиозному обряду покойников снимают с постели и кладут на пол, пока не вынесут из дома). Не веря случившемуся, я, рыдая, бросилась на мёртвого отца и потеряла сознание. Я пришла в себя в одной из комнат тётки. Около меня находились женщины, которые меня успокаивали. Мне не верилось, что он умер. Ещё недавно я его кормила. Значит, он понял, что умирает, и не хотел, чтобы я при этом присутствовала. Отец умер таким молодым, 43-х лет.

С сегодняшнего дня мы с Абрамом — круглые сироты. Собралось много родственников, и настало время выноса тела. Меня позвали проститься с отцом, до этого меня не пускали около него сидеть. Когда его начали выносить, я бросилась к нему, хотела до кладбища проводить, но мужчины меня удержали. Я поныне помню, что не была на кладбище. Почему они меня не пустили? Видимо, жалели. Так кончилась жизнь моего бедного отца.

Вернусь к своей жизни<sup>1</sup>. Когда я приехала в 1908 году в Клинцы, как я уже писала, со мной познакомилась молодой парнишка,

---

<sup>1</sup> Любопытно, что надрывное описание смерти отца гладко переходит в историю замужества.

который своим поступком мне не понравился. Оказалось, что он временно приезжал в Клинцы, хотя он клинцовский, но работал в Стародубе в связи с болезнью отца. Хотя парень был ремесленником, мои родственницы только о нём и говорили. После нашего знакомства он уехал обратно в Стародуб, но посылал мне через них приветы, которые девушки-родственницы мне с иронией передавали.

Прошло лето, настали осенние праздники, и парень приехал домой. Он познакомил меня со своей сестрой, чтобы удобнее было ко мне подходить. Всю неделю праздников я не работала, каждый день гуляла. И где бы я ни гуляла, куда бы ни ходила, всюду, как из-под земли, вырастал этот молодой человек. Знакомые переглядывались между собой, насмехались по моему адресу, но я на всё это обращала мало внимания. Я даже не думала [о нём. — *М.Б.*]. Когда я с отцом жила на даче, тот молодой человек, как родственник, приходил навестить отца и уделял отцу много внимания. Он стал у нас частым гостем. Я выходила провожать его до дверей из вежливости.

Однажды после его ухода отец спросил: «Зачём к нам ходит сын Якова-Мейши?». Так звали отца молодого человека. Я отвечала: «Чтобы тебя проведать». Тогда отец сказал, что есть ещё много родственников, но никто из них не ходит. Я пожалала плечами. «Так вот что, — говорит отец, — он ходит к тебе. Я знаю, что ты многим хорошим парням нравилась, но этот лучше всех, мне нравится. Если он сделает тебе предложение, ты не отталкивай его от себя. Он подаёт надежды, что в будущем станет преданным семьянином. Не забывай, что ты бедная сирота, мои дни сочтены, а потом твоё положение ухудшится. Сегодня ты живешь у тётки, а завтра тётка не захочет тебя держать, и тебе придётся скитаться. И ещё у тебя на шее висит малый брат Абрам, которого нужно поставить на ноги. Постарайся сделать его ремесленником, тогда он наверняка будет иметь на жизнь. А ты выходи замуж за этого молодого человека».

Меня тот разговор очень взволновал. Я пыталась доказать отцу, что я ещё очень молода и что я успею [выйти замуж. — *М.Б.*], на что последовал ответ, что бесприданницу никто не возьмёт. После этого нашего разговора, когда наш гость являлся, я себя

чувствовала неловко. Раньше я с ним держалась развязно, а теперь стала застенчива, больше молчала и не могла себе уяснить, что со мной происходит. В таком положении я была, когда отец умер. Когда я очнулась после обморока, возле меня с нашатырным спиртом в руке стоял наш гость. Он очень беспокоился обо мне и всеми силами старался меня успокоить. Когда все шли на кладбище, ему не хотелось меня покидать, но его отец, понимая, что об этом станут говорить, забрал его с собой.

Моя жизнь после смерти отца. Когда вернулись с кладбища, то темой разговора была я. Один дядька заявил, что он понимает, что этот парень мной интересуется и что нужно отдать меня замуж, а Абрама я должна взять к себе. Я тут же вспомнила умные слова своего отца о том, что мы всем будем чужие. Не успели еще остыть его ноги, а уж от нас хотят избавиться. Этот разговор меня очень расстроил, и я в слезах вышла из комнаты и села там, где совсем недавно лежал мой отец. С взглядом, прикованным к тому месту, я просидела много часов в оцепенении, пока меня не обнаружили и не вывели. После того вечера я ежедневно там сидела, в углу, противоположном кровати, где лежал отец, пока не обнаруживали моё исчезновение. В конце концов, ту комнату заперли от меня на ключ. Тогда только я начала привыкать к новой обстановке. При встрече знакомые принимали меня за мою [двоюродную. — *М.Б.*] сестру, так я изменилась.

Я отослала в Хотимск папины вещи и затем поехала забирать брата Абрама к себе. У отца осталось имущество — старая изба. Нас было четверо — мачеха с годовалой дочкой<sup>1</sup> и я с братом. Мачеха с ребёнком уехала к своим, а я забрала Абрама к своим, то есть к тётке. Я знала, что нас обоих она держать не станет. К тому же Абрам был болен золотухой<sup>2</sup>. Везу его в Клинцы, а сама думаю: «Мальчишка больной, оборванный, а я сама не имею приюта. Куда мне его девать?». Каждая новая верста меня не радовала, а наоборот. Здесь, на подводе, мне было лучше. Но всё равно приехали. Мой безлюдный [нелюдимый. — *М.Б.*], запуганный Аб-

---

<sup>1</sup> Отметим, что о рождении и даже существовании этого ребенка Доба-Мэра нигде прежде не упоминает, да и здесь пишет о ней как о постороннем человеке. Она нигде не называет имени девочки, точно так же, как имени мачехи.

<sup>2</sup> Старое название одной из форм диатеза.



рам не идёт в дом, стыдится всех и боится. Долго мне пришлось его уговаривать зайти хотя бы во двор. Что мне с ним делать и где достать для него угол? Нашла я ему угол и стол недалеко от нас, за 8 рублей в месяц. Сама я устроилась работать рядом с ним у одного добродушного хозяина, Любимова, за 15 руб. в месяц. Хозяин меня уважал, поэтому я работала на него 12 часов в день, а после работы я ещё работала для него штучно. Таким образом, я заработала на содержание брата и на его одежду.

Дело обстояло плохо с определением его на работу. Я по завету отца хотела учить его ремеслу. Мой хозяин предложил посадить его у нашего стола и учить портняжному ремеслу, но родня подняла тревогу, что они не хотят иметь племянника-ремесленника. В то время ремесленников не любили. Надеясь на их помощь, я боялась их послушаться и определила его в большой магазин мануфактуры и галантереи к богачу Ривину на два года бесплатно. Абрам же, забитый, с детства боявшийся людей, стал посмешищем приказчиков. Хозяева, правда, ценили его честность, но младшие приказчики боялись, чтобы он кого-нибудь из них не вытеснил в будущем, поэтому они над ним всячески издевались и не учили работать. Он очень от этого переживал и при встречах со мной жаловался и плакал. Я уже пожалела, что не отдала его учиться ремеслу. Родственники всё равно о нём не думали и думать не хотели.

Моя жизнь стала трудней. Абрам, как я уже говорила, был болен золотухой. Ему нужно было хотя бы раз в неделю мыть голову и переодевать бельё. Но где это делать? Тётя запретила мне это делать у неё дома. Она этим брезговала, даже без стеснения заявила, что, если узнает, что я это сделала, то чтобы назавтра я себе искала другое жильё. Что делать? Как быть? И я рискнула быть выгнанной, и каждую пятницу вечером я оставалась ждать его на улице, где он, бедняжка, где-то за углом или за деревом был спрятан. Когда весь дом засыпал, даже прислуга, потому что я и прислугу боялась, чтобы не рассказала, у меня уже была приготовлена вода, и я его брала в свою комнату, и он, дрожа, как [осиновый. — М.Б.] лист, чтобы я из-за него не пострадала, тихо шептал: «Как хорошо, что наш меньший братишка умер. И мне так нужно было. Так бы я не бродил по улицам, как бездомная со-

бака, и тебе не был бы в обузу». Эти слова разрывали мне сердце, но хуже всего было то, что когда я его помою, переодену и уложу на пол спать (правда, пол у меня был чистый, но другого места не было, так как на мою постель он ни в коем случае не хотел ложиться), то, укладывая его спать, я не ложилась сама, потому что на рассвете я должна была его разбудить до того, как встают выгнать коров к пастуху, чтобы его никто у меня не заметил.

Боже мой, как тяжело мне было подойти к спящему ребёнку, который после стольких переживаний, может быть, видит хорошие сны, будить его и выгонять на улицу! Не описать, сколько я об этом проливала слёз. Однажды я не утерпела и тоже заснула, и утром бабушка его у меня увидела. Абрам подхватился, бледный как смерть, схватил свою одежду и оделся на ходу во дворе. Там его увидела тётя. Начались объяснения. Я не могла удержать слёзы, которые лились из глаз ручьём. В слезах я объяснила, что знаю, что отец просил её перед смертью не оставить нас на произвол судьбы. «Не знаю, обещали ли Вы ему или нет, но поступайте, как хотите. Я могу сейчас же уйти, если прикажете. Я этому несчастному ребёнку сестра, а по обязанности и мать, и отец. Он не виноват, что я плохая опора, если у меня нет своего угла». Тётя ушла, ничего мне не ответив. А я продолжала в том же духе и раз в неделю у себя мыла и переодевала Абрама.

Время шло. Мой знакомый парень стал заходить ко мне. Всем нашим он понравился. Мне он тоже нравился, но жизнь превратила меня в недоверчивую, запуганную птицу. Ведь я с детства была обижена судьбой, ни от кого не получала искренней ласки, поэтому и я ни к кому не питала симпатии. Жизнь научила меня всех бояться, не лгать, но и правду не говорить, а лучше молчать, о чём знаешь. Я даже избегала общества. Когда встретится [знакомая. — М.Б.] девушка, оденусь и пройдусь, а то больше работала и читала.

У тёти приказчиком был Мотя Поляков<sup>1</sup>, тоже круглый сирота. Он им был племянником, и ему было столько лет, сколько мне. Когда он был свободен, то заходил ко мне в комнату и делился плохим и хорошим. Правда, хорошего у него было столько, сколь-

---

<sup>1</sup> Этот Мотя Поляков остался бабушкиным другом до глубокой старости. Я встречал его на похоронах наших родственников.

ко у меня. С ним мне было веселей, и я себя перестала чувствовать одиноко в этом большом доме. Я была ненужной, но Мотя был нужным, приказчиком, ему платили, но и он страдал от одиночества. Постепенно мы с ним сдружились, как с родным братом. Он, конечно, не мог мне ничем помочь, но я могла с ним обо всем советоваться, и он об этом никому не рассказывал. Дома обратили внимание на нашу дружбу и придали ей другое значение, но ни я, ни он ни о чем [таком. — *М.Б.*] не думали, в особенности у меня даже и мысли такой не было. Мои взгляды на жизнь тогда были таковы, что меня молодёжь [молодые люди. — *М.Б.*] вообще не интересовала; у меня была потеряна вера в людей и надежда на хорошее будущее.

Несмотря на то что я возвращалась вечером с работы усталая, мне было приятно, когда приходил братишка и рассказывал, как он провёл день. Я осматривала его, чистый ли. Потом заходил Мотя и дети дяди. Приходил и мой знакомый молодой человек, и комната превращалась в веселый уголок молодёжи. Сюда даже часто заглядывала бабушка, не любившая весёлость молодёжи. Бывало, что и тётя зайдет, побудет с нами, а потом, боясь скомпрометировать себя, уходит. Меня же это [эти сборища. — *М.Б.*] мало радовало. То есть внешне я как будто была рада, но на душе всё же было тяжело и пусто.

Но однажды пришел час, который вывел меня из оцепенения; это мой знакомый объявил мне цель своего посещения и попросил дать ему ответ, согласна ли я на его предложение. Поражённая неожиданностью и не находя слов, я сказала, что посоветуюсь с бабушкой и тётей. Он, конечно, обиделся на такой ответ, сказав, что когда человек нравится, то не советуются. Я поняла, что он прав, но после того, как меня жизнь научила никому не доверять, я никого не любила и боялась этой мысли, чтобы кого-нибудь полюбить, а потом оказаться обманутой.

Если когда-нибудь по отношению к кому-нибудь из молодых людей во мне просыпалась душа молодой девушки, я эти мысли от себя гнала прочь и дрожала от испуга. Разве может бедная девушка мечтать о взаимной любви? Девушку любили, если она счастливая, если у неё есть родители и к тому же приданое, а меня за что будут любить? Не то и не другое, только обмануть

хотят. Так я думала, когда видела, что какой-то молодой человек хочет со мной познакомиться или поухаживать. Когда я видела или люди мне говорили, что тот или другой мною интересуется, я этого очень боялась и избегала встречи. Поэтому я так и ответила на предложение моего молодого человека.

Не имея родителей, я действительно посоветовалась с бабушкой и тётёй, что вот мой давнишний знакомый, который к нам ходит, наш родственник, Медведев, Мейлах сын Яков-Мейши, хочет, чтобы мы вместе поехали в Америку, так как мы оба ремесленники. Здесь труд мало оплачивается, а там лучше. Здесь меня ничего не связывает, родных нет, а братишку после забёрем туда.

Выслушав меня, бабушка и тётя выразили своё согласие, но сказали, что он ещё до призыва, и поэтому рискованно, чтобы я не осталась на четыре года одна. На вопрос, не стану ли я посмешищем, потому что я бедная сирота, тётя ответила, что он человек очень приличный, и она видит, что он искренне меня любит и знает моё положение. Я послушала своих. К тому же у меня были в памяти слова моего покойного отца: «Не отталкивай его. Он хороший. Он тебе заменит и отца, и мать». Но в душе у меня всё же была тревога. А вдруг его родители не захотят взять бесприданницу? О, если бы я тогда могла припасть к груди своей матери и спросить её совета, сколько бы я за это отдала! Боже, как мне было тяжело! Изъявив своё согласие, я всё же в душе решила быть осторожной, чтобы в случае чего быть собой довольной. Я старалась не гулять [с ним. — М.Б.], где мало людей, старалась под разными предлогами реже встречаться. За это я получала от него немало упреков, но меня это мало трогало.

Проходило лето. Он был без работы. Было решено, что мы начнём хлопотать об отъезде. Постепенно я узнала, что у него большая семья и что живут они очень бедно. На мой вопрос, знают ли его родители о его решении и как они на это смотрят, он отвечал, что знают и одобряют. А люди передавали мне другое, а именно, что семья на это смотрит как на обычное времяпрепровождение молодого человека с девушкой и что они ему не разрешат жениться такому молодому, да к тому же на бесприданнице. Меня это, конечно, волновало, и я плакала без конца.

В это время одна из моих тёток сватает мне другого Медведева, пожилого и богатого холостяка Айзека, с которым меня накануне случайно познакомили, и я не знала, для какой цели. Я, конечно, отказываюсь и от него, и от его богатства, и с удовольствием отказалась бы и от моего старого знакомого, так как кроме новых огорчений и забот, это мне ничего даёт. Наконец, по моему настоянию, он заявил родным, что мы уезжаем, и попросил их разрешения на наш брак. Отец заявил, что он хочет предварительно со мной поговорить. Я согласилась, хотя цель разговора мне не была известна.

Разговор начался с вопроса, почему я отбираю у него сына и увожу его. Я ответила, что он сам хочет ехать. Тогда отец потребовал, чтобы я пообещала, что я никуда не поеду, тогда и он не поедет. Я, привыкшая покоряться старшим, ему это обещала, в то время как без своего жениха я не имела права сама решать этот вопрос. Когда я ему об этом рассказала, он был поражён и сказал: «Это ничего не значит, что ты обещала, а мы всё равно поедем, так как здесь нам будет тяжело устроиться». На это я ответила, что своему слову не изменю и против его родных не намерена идти ни при каких обстоятельствах.

Итак, вопрос об Америке отпал, и это значило, что ему нужно устроиться на работу. Они решили, чтобы он уехал. Их главная цель была отправить его от меня в надежде, что он меня забудет, но когда любят искренне, то не забывают даже на расстоянии.

Он решил ехать в сторону Харькова, но там евреям нельзя было жить без правожительства. Добыл себе кое-какие документы и собрался ехать завтра после еврейских осенних праздников Суккес. В эти праздничные дни я не работала. Мой неофициальный жених начал настаивать, чтобы мы обручились. Это по еврейскому религиозному обряду, при людях дают друг другу обещание и объявляют себя женихом и невестой. Я согласилась, но при условии, что его родители дадут на это согласие и будут присутствовать. Но родители категорически от всего отказались. Мой жених был в отчаянии. Его родители мотивировали так. Зачем ему уехать связанным? Он поедет свободным и, может быть, там найдёт богатую невесту. Жених мой в слезах умолял тётю и бабушку. Он рассуждал не так, как его отец. Он боялся уехать так,

потому что искренне любил меня и боялся моего равнодушия по отношению к нему. Убеждая меня, он говорил: «Ведь тебе родители мои не нужны. Причём тут они? У тебя нет родных, считай, что и у меня их нет, если они издеваются над моими чувствами». Но я твёрдо стояла на своём, и он уехал свободным.

После отъезда моего жениха я свободно вздохнула и уже неоднократно жалела о том, что я стала [неформальной. — *М.Б.*] невестой и должна себя чувствовать обязанной и гадать о своём будущем; к тому же меня очень тяготило отношение его родных ко мне. Меня волновала их незаслуженная ненависть ко мне, поскольку я не привыкла к таким отношениям. Даже там, где была я ненужная, всё же как человека меня уважали и даже любили.

Жизнь моя опять пошла без волнения и тревог. Работала по-старому. После работы молодёжь нашего дома собиралась ко мне в комнату или же я читала. Незаметно для меня прошла осень и уже половина зимы. Мой жених, конечно, меня не забывает, часто пишет письма, довольно тёплые, но ни одно письмо ко мне не попадает без того, чтобы Мотя Поляков его бы не прочитал, так как он получал почту. Но меня это не трогало, даже его насмешки по моему адресу меня не затрагивали. Обижаясь на своих родных, мой жених им почти не писал, а мне очень часто. Если от меня письма где-то задерживались, то сразу ко мне летели телеграммы и такие страшные письма, что и теперь, когда вспоминаю, мне становится страшно.

Всё же он не усидел [в Харькове. — *М.Б.*] и приехал в начале 1910 года. В его приезде меня радовало только его здоровье и благополучие. Я уже привыкла к моей прежней девичьей свободе, и мне не хотелось так рано расстаться с моей хотя и одинокой, но девичьей жизнью. Но делать было нечего. Раз я уже согласилась, то нужно выполнить.

Тут стал вопрос: как это осуществить? Он не устроен. Молодой. Еще предстоит призыв. И у меня ничего нет. Помощи ждать неоткуда. И к тому же не хочется выходить замуж без его родных, а они ни в коем случае не соглашаются. Под конец, когда они согласились, то они потребовали от тётки приданое в размере 3000 руб. Конечно, тётка таких денег мне давать не собиралась. [Тогда. — *М.Б.*] они ему запретили ходить ко мне для того, что-

бы тётя не допустила распада нашей связи и дала денег. Но тётя не думала об этом. Лично я не находила для себя оправдания, не могла простить свой поступок. Зачем я так рано стала невестой? Мало я плохого пережила до этого? Я страшно боялась [его. — *М.Б.*] семьи. Несмотря на свою молодость, я в жизни хорошо разбиралась. Если родители теперь не могут его отговорить от меня, то это потому, что он очень заинтересован мной. Но когда поженимся, а жить будет не с чего, то они его заберут. Тогда моя жизнь превратится в сплошное мучение, и именно этого я боялась.

И я решила раз и навсегда уехать из Клинцов и покончить с женихом. Когда мой жених узнал об этом, он стал настаивать, чтобы мы обвенчались без его родных: доехать до ближайшей станции и, чтобы не было лишних разговоров, обвенчаться и приехать, и тогда волей-неволей нас примут.

Но я этого не хотела. С одной стороны, я не хотела их огорчать. К тому же я знала, что мною интересуются очень приличные люди, и их родные рады были бы иметь меня невесткой, зная, что я бесприданница. Я понимала, что быть бесприданницей очень страшно для девушки. Но я не падала духом, так как я начала зарабатывать хорошо и стала одеваться, и я надеялась, что спустя пару лет у меня будет приданое и что я достойна выходить замуж так, чтобы все знали, а не то что прятаться от родных жениха. И я твёрдо на этом стояла, то есть поставила моему жениху ультиматум: или я уеду и [выйду за него. — *М.Б.*], когда заработаю на приданое, или он уговорит своих родителей дать согласие на брак.

Опишу немного нрав и характер его отца, так как [к тому времени. — *М.Б.*] я уже с ним немного познакомилась. Это был высокий красивый мужчина с большой густой бородой, стройный, на вид строгий, настойчивый, гордый, очень энергичный. Обременённый большой семьёй, он очень много работал, чтобы детей кормить. Он любил, как я уже говорила, по-своему делать и ни с кем из членов своей семьи не считался. Он был очень умён, даже иногда уж слишком.

Увидев, что его молодой сын влюблён не на шутку, а разрешить ему жениться на бесприданнице он не хочет, он задумал другое. Он обещал сыну, что женит его, сказал, что я ему и им

всем очень нравлюсь, и поэтому пусть он возьмет меня к ним на неделю или две в гости. Ведь едут невесты к женихам в гости. «А мы вместе всё приготовим». Я это не совсем поняла, а посоветоваться было не с кем. Я стала советоваться с тётёй, но тётё это уже порядком надоело. Во-первых, мои переживания, во-вторых, боязнь, что придётся дать приданое, в-третьих, что, вот, [другие. — *М.Б.*] люди женятся и замуж выходят, и всё как-то спокойно, а с нами буквально вся родня взбудоражилась. Я лично не была рада своей жизни. Получалось так, что ни тут жить и ни прочь итить [идти. — *М.Б.*].

Отказать жениху — значит убить его, а идти к ним, значит новые муки для меня. Я хорошо понимала его отца, что он и тогда нас не женит и что если я теперь уеду от меня [из своего дома. — *М.Б.*], никто не осудит, а если я уеду от них, то пойдут нехорошие разговоры про меня. Как я ни была стойка, но не устояла перед мольбой моего жениха. Он обещал, что в случае отказа отца женить нас он вместе со мной уедет.

У нас остался в наследство от отца — домишко. Нас осталось четверо: мачеха с [моей сводной] сестрой и я с братом. Домишко стоял рядом с домиком дяди Алтера, и ему очень захотелось завладеть им. Он через тётю Гесю, сестру его жены Лыфши, начал меня уговаривать продать ему [дом. — *М.Б.*], а деньги разделить всем поровну. Ненавидя Алтера с детства, я бы отказалась, при всей моей бедности, от денег и предпочла бы, чтобы этот домик сгорел дотла, лишь бы Алтер им не пользовался. Но тут приехала мачеха и начала настаивать продать, а если нет, то ей дать её часть, так как она нуждается. Тётё, конечно, хотелось, чтобы этим [домом. — *М.Б.*] Алтер пользовался, и она дала мачехе денег, взяв у неё расписку, что свою часть наследства она получила. Мне тётя сказала так: «Если захочешь жить в Хотимске, ты мне вернешь эти деньги, а если нет, то имущество только Алтеру». Я, конечно, не думала строить жизнь в Хотимске, но всё же подарить Алтеру, когда он этого не заслужил, мне не хотелось.

Мы с женихом решили оформить имущество на моё имя и съездить посмотреть, что это место из себя представляет, нельзя ли там устроиться жить. Вернее, я-то знала, что нам, молодым, там делать нечего, но он [дома. — *М.Б.*] не видел, и поэтому мы



поехали. Если мы там жить не будем, то [сможем. — *М.Б.*] продать любому, кто больше даст, а тётке потом отдать долг. Приехав в Хотимск, мы приступили к своему намеченному плану. Алтер тут же восстал против нас, что это его и он никому не даст продавать.

Полетели письма тётке в Клинцы. Тётя против меня выступила и написала, что если я не продам дом Алтеру, то, во-первых, чтобы я не смела больше являться к ней на порог, а во-вторых, она шлёт Алтеру такие документы, что у меня никто не купит. Хотя и так было бы нелегко продать домик, то [ещё труднее. — *М.Б.*], когда рядом плохой сосед, который проклинает. Тогда покупателями были только евреи. Какой же еврей захочет купить себе жилье и ссориться с соседом рядом? Получив такое письмо, я горько, горько плакала. Теперь я всё потеряла. В то время, как у меня никого и ничего нет, так ещё хотят мои последние пожитки ограбить [Далее зачеркнуты пять строк. — *М.Б.*].

Тут я поняла, что единственный мой жених мной интересуется и предан мне всей душой и без хитрости. Мы перевели имущество на моё имя, но решили пока не продавать, так как подходящих покупателей не было из-за Алтера, а ему не хотелось продать даром [очень дешево. — *М.Б.*]. Приехали в Клинцы: он домой, а я к тётке. Отношение тёти ко мне ухудшилось. Судьба моя решалась. Дальше жить у тёти нельзя. Или уехать искать счастье, или согласиться с женихом, выходить за него замуж при первой возможности. Я так и сделала. Собрала свои вещи, наняла извозчика и вместе с женихом поехала к его родным. Я медленно собиралась, потому что я этого шага так боялась, это был действительно решающий шаг, который решил судьбу всей моей жизни. Я шла, как осуждённый на казнь. Я проклинала день своего рождения и несчастное наследство, что осталось от отца, что из-за этого я последний угол и надежду потеряла.

Я потому медленно собиралась, что надеялась, что кто-нибудь из семьи предложит мне остаться. Но этого не случилось. Когда прислуга им об этом сказала [что я уезжаю. — *М.Б.*], они не вышли из комнаты. Когда я собралась уходить, я хотела с ними попрощаться и поблагодарить хотя бы за ту милость, что они мне оказали до сих пор. Когда я хотела зайти к ним в комнаты, то прислуга

сказала, что барыни дома нет. Я попрощалась со всей прислугой. Они все заплакали, а я с разбитой душой бросила прощальный взгляд на мою пустую комнатку с пустой кроватью, где я долго жила и мечтала о многом, неизвестном и неосуществимом.

Я пишу эти строки спустя 30 лет. И всё пережитое мною не опишешь, потому что не хватает времени у меня на это. Но, как и теперь, передо мной встаёт образ той ужасной жизни. Когда люди красуются своею молодостью, а я каждый свой шаг обливала горькими слезами. Мне, будучи уже бабушкой, становится страшно от той жизни; когда я пишу об этом, и то тяжело. Пишу, а слёзы, помимо моей воли, катятся из поблёкших глаз по морщинистым щекам и незаметно падают на тетрадь. Я в эту минуту вся поглощена моим прошлым, то есть [пишу. — М.Б.] о всех моих переживаниях, никому не нужных. Сколько на это было потрачено моего здоровья!

Общеизвестно, что жизнь человека проходит в этапах, то есть в периодах времени. Например, детство, юность и т.д. Как известно, детства хорошего я не знала, надеялась, что когда я стану большая, мне будет хорошо. Но вот я уже большая, имею жениха и думаю выходить замуж. Хорошего опять нет, и не вижу впереди ничего утешительного. Мы оба бедны, помощи или какой-либо поддержки с какой-либо стороны ждать нечего. В то время такие девушки, как я, часто попадали в безвыходное положение. И часто становились несчастными жертвами богатых прихотей. Именно этого я боялась. И я твёрдо решила бороться с трудностями, не падать духом и смотреть на всё просто. Я надеялась преодолеть всё.

Моя жизнь в доме его, то есть жениха, родных. Когда мы подъехали к домику его родных, то дети высыпали на улицу нас встречать. А отец с матерью стояли у окна и иронически улыбались от моего приданого, мол, на одном извозчике забрали. Мой жених был этому случаю очень рад, но я, когда очутилась у них в доме и каждый из семьи стал ко мне подходить и разглядывать и расспрашивать меня, хотя они уже меня видели и знали, очень разволновалась. Я краснела и бледнела и места себе не находила. Была пятница после обеда, когда я переступила их порог. Этому были рады только мой жених и малые дети. Родители и старшие дети скрывали своё недовольство по отношению ко мне. Даром я

мечтала, что родители моего мужа заменят мне моих родителей, тут я поняла, что глубоко ошибалась. Не то, что они не любят меня, а даже ненавидят, и я не знала, за что. Если я раньше, живя у тётки, могла когда петь и смеяться, то этому здесь конец. Меня охватило удручающее состояние.

Жили они в низком домике, состоящем из двух изб, соединённых тёмной кухней. Семья состояла из 12-ти человек. Отец и мать лет примерно по сорок и десять человек детей, из коих самый старший — мой жених. Бедность жуткая. Все дети оборваны. Детей отец ведёт строго. Его почему-то все боятся. Дети вздрагивают при его взгляде. Даже мать перед ним теряет. Садятся ужинать, и если он заметит, что какой-то ребёнок не по нём сидит, то делает его посмешищем всех, сидящих у стола. А если дети веселятся и стоит кому-нибудь даже в шутку сказать, что отец идёт, они моментально прячутся кто где. Мой жених тоже боялся его взгляда. Я не привыкла к такой обстановке, и это мне не понравилось. У меня сложилось мнение, что дети отца не любят, а боятся, и я тоже начала его бояться.

Не прошло и недели, как весь город и родственники знали, какое у меня приданое. Это рассказывал отец всем встречным и поперечным, желая пристыдить тётку, что она меня пустила без приданого. Но тётка и в ус не дула, а я от этого очень волновалась. Проходит неделя, другая, а отец и не думает нас венчать. Я с ним говорить боюсь, а когда говорю с женихом, он мне обещает с ним поговорить, но я понимаю, что и он боится. Наконец он с ним заговорил. Тогда отец, озлобленный этим, категорически отказал, заявив, что я просто посторонняя девушка, а не невеста и что из жалости ко мне он меня пустил к себе жить. Такой ответ нас поразил, и я, глотая слёзы, вышла, а жених ему сказал, что я его невеста, что другой ему не нужно и что если он нас не хочет женить, то мы уедем в ближайшую местность и обвенчаемся. Он вышел вслед за мной, и мы направились в город посоветоваться, как нам быть. Не успели мы пройти квартал, сзади послышались крики его отца. Не стесняясь посторонних, он, ругая, звал его обратно в дом. Но он [жених. — *М.Б.*] не хотел идти. Я поняла, что он боится. Всё же я настояла, чтобы он пошёл домой, а сама решила: если сегодня не назначат день свадьбы, то обвенчаемся без них,

найдем комнатку и начнем жить. Я домой не вернулась, а осталась там ждать, где меня оставил мой жених. Я долго его ждала. Наконец он [вышел. — *М.Б.*], расстроенный, и заявил, что они не соглашаются и что нужно готовиться обвенчаться без них.

По пути в город жил мой двоюродный брат Гирша Медведев. У него была очень умная жена, и нас она очень уважала. Она очень хотела, чтобы мы уже скорей перестали мучиться, и помогала нам всякими советами. Я и поныне её за это очень уважаю. После последнего отказа родителей мы ей первой рассказали об этом и советовались, как быть дальше. Я поняла, что меня обманули и ждут случая, чтобы сын от меня отвернулся. Однако чем больше они его восстанавливали против меня, тем больше он меня любил и жалел.

С нашей родственницей Ханой [женой Гирши. — *М.Б.*] мы решили то же самое и ушли от них в город. После нашего ухода, когда мимо них проходил отец моего жениха, Хана его остановила, хорошенько отчитала ему за меня нотацию и решительно заявила, что если он нас не обвенчает, то она нас обвенчает, так как они меня, сироту, обманули, и некому за меня заступиться. Услышав, что у меня есть заступники, он заявил, что во время осенних праздников он нам устроит свадьбу.

Разве возможно описать, сколько его семья надо мной издевалась! Но я их не так виню, как отца, главу семьи и грозу семьи. Все дети дрожали от страха только при его появлении, и семья с него брала пример. Когда к нему обращались с вопросом, когда он нас обвенчает, то он удивлённо спрашивал: «На ком я женю сына? Эта девушка, что у меня живет, это с жалости я пустил к себе на квартиру сироту бедную». Его слова глубоко запали мне в душу, потому что я этого не заслужила. Я им не навязывалась, а, наоборот, не хотела их ни в какой мере обидеть.

Или же увидят, что я читаю вслух книжку прочётную, и дети на миг забывают ненависть ко мне, садятся возле меня и просят читать вслух. Читала я тогда неплохо. Соберутся вокруг меня все дети и с удовольствием слушают моё чтение. Но стоит только отцу появиться на пороге, как они испуганно убегают, кто куда. Бывает и так, что он появится незаметно, все увлечены и не замечают его. Тогда, постояв немного, он бесцеремонно говорит кому-нибудь из

детей: «Теперь ты читай. Ты читаешь лучше. Её не поймёшь и не разберёшь». И забирает у меня книжку, и отдаёт его избраннику, а тот, краснея и бледнея, начинает водить пальцем и читать по складам. А он, самодовольный, кивает головой и одобряет чтение, а дети постепенно, потягиваясь, незаметно расходятся от чтеца, а я покорно слушаю, и сердце у меня сжимается от обиды. Или же кто-нибудь из детей скажет: «Сегодня идёт хорошая постановка. Нужно было бы пойти посмотреть», а я отвечу: «Конечно, нужно» просто из приличия. Тогда отец сразу вмешивается и говорит мне: «У тебя идти не в чем. Тоже мне, невеста, а одеваться не в чем. У людей невесты, у них всего много». Ни слова не отвечала ему, а сердце обливалось кровью. В чём моя вина, что у меня мало? Родителей у меня нет, чтобы обеспечить меня, а сама я ещё не успела приобрести, слишком молода. Сколько у меня есть, столько носить буду.

Итак, за время, что я у них жила, не проходил ни один день без обид и насмешек со стороны отца, а семья все его насмешки подхватывала. Я старалась не бывать дома, когда он возвращался, но не могла этого избежать. Мои переживания в то время невозможно описать. Хуже было то, что выхода не было. В то время нужно было считаться с общественным мнением. Один был выход — уехать от них куда глаза глядят. Но что люди скажут: «Выгнали?». Я поняла своё ужасное положение. Меня не радовало то, что мой жених [меня. — *М.Б.*] ценит и любит. Я боялась за него замуж идти из-за семьи, а оставить его и уехать, то я его, как человека, жалела, к тому же он ведь этого не заслужил. И так я томила в своём неизвестном положении.

Наконец настало долгожданное время, то есть праздники, и нужно было готовиться к свадьбе. Отец опять что-то выдумал, чтобы сорвать своё обещание, но под давлением родственников назначил день нашей свадьбы. Несмотря на то что я сама хотела поскорей покончить с неизвестностью, когда настал этот день, мне стало очень страшно. Во-первых, одна. Во-вторых, я поняла, что сегодня решается очень важное в моей жизни. Что от этого дня зависит моя судьба.

В этот день я постилась и пошла с моим братишкой Абрамом на могилу нашего отца. Упав на могилу отца, я излила в слезах

все свои переживания, и мне казалось, что отец их слышит, но ответить не может. Долго я лежала на могиле и ревела и даже не заметила, что мой братишка звал меня домой. В эти минуты для меня ничего и никого больше не существовало, кроме этой глухой и немой могилы. Я бы лучше предпочла остаться здесь, чем возвращаться к людям, ненавидящим меня напрасно, и вступить в брак с человеком этой семьи. И какая неведомая судьба ждет меня впереди? Мой братишка Абрам, увидев, что я уже потеряла голос от крика, позвал людей, которые в это время ходили по кладбищу, и меня силой стащили с могилы, и Абрам повёл меня домой. Я, разбитая, охрипшая и полоумная, ждала в безразличии время свадьбы.

За несколько дней до свадьбы я ходила к своим родственникам приглашать их на свадьбу. Пригласила также тётю Гесю. Она уже на меня больше не сердилась и многое мне подарила ко дню свадьбы, в том числе нешитое полотно для рубашек. Свадьба должна была состояться у родственников Злотиных в большом доме. Девушки, мои родственницы, очень старались в этот день. Всё приготовили с исключительным вкусом. Кресло, где я сидела, убрали красивыми живыми цветами, [которыми украсили. — *М.Б.*] также и стену, перед которой мы сидели. Украсили и стол. Всё это было очень красиво, но меня не радовало, даже больше пугало. С каким бы удовольствием я припала к груди моей матери и, рыдая, обо всём бы ей рассказала и спросила бы её совета, как от этого избавиться.

Но как бы то ни было, вечер настал. Одели меня в подвенечное платье. Собралось много гостей — родственников, в том числе тётя с дядей. У евреев существует такой порядок, что к венцу невесту ведут её родители. Когда же родители умерли, то ведут уж кто-нибудь из близких старшего возраста. И вот настал момент вести меня к венцу, и ко мне подошли старшие брат и сестра моей покойной матери и взяли меня об руку, чтобы идти. О! Этот момент мне никогда не забыть. Вот где мне больше нужны были родители, чем когда-либо. И почему я так жестоко наказана? Пусть бы хоть кто-нибудь был жив! Да, страшней всего для меня был этот момент. Меня это так поразило, что я в изнеможении упала, рыдая, на стул. И все вокруг заплакали навзрыд. Наконец меня

подняли с места и повели. Я ничего не видела и не понимала, что происходит со мной.

Опомнилась я только, сидя у стола за свадебным ужином, когда весёлые гости начали меня с женихом поздравлять. Я была очень разбита и устала после такого тяжелого дня. После ужина начались, по обыкновению, танцы, и мне было неудобно отказывать в приглашении гостям, и я кое-как с ними танцевала. Родственники нам многое подарили. Богатые родственники старались поменьше тратиться, боясь за свой капитал. Но больше всех подарила тётя Геся. Она всё же и на этот раз поступила приличнее всех.

Наконец один этап жизни прошел. Начался второй. Замуж выходить или жениться — это бывает только раз в жизни. То есть бывает, что и повторяется, но [второй раз. — *М.Б.*] это не играет в жизни человека такую важную роль, как в первый, в особенности для девушки. Как только девушка начинает понимать, что она женщина и что ей нужно будет выходить замуж, она уже на будущего своего друга возлагает все свои девичьи грёзы и будущие надежды, считая, что это ей в будущем покровитель и защитник. Она не задумывается над тем, что этот защитник может стать самым первым обвинителем и врагом. Такие случаи часто бывают. Это бывает потому, что люди, когда ухаживают, скрывают и сдерживают свой характер, боясь подорвать свой авторитет перед другом, рискуя его лишиться. Поэтому они стараются не показывать своё подлинное лицо.

Но стоит сойтись вместе, как постепенно начинает исчезать маска и выясняется, что люди совершенно разные во всех отношениях. В таких случаях мужчина, считая себя полноправным хозяином женщины, берёт верх и начинает распоряжаться женой как ему угодно, как вещью. Тогда жена, если она не хочет покоряться, восстаёт, и начинаются скандалы. Сначала при закрытых дверях, а потом открыто, [и супруги. — *М.Б.*] становятся, как дикие звери, непримиримые в одной клетке, готовые при всяком удобном случае броситься друг на друга, перегрызть горло. Забывая всякие приличия, и уж не говоря о том, что ещё недавно эти люди так стремились видеть друг друга и считали, что когда они попадут в тот неведомый мир, то сойдутся и будут счастливы.

Когда же женщина покорная, то она начинает уступать и покоряться во всём своему мужу, стараясь скрывать нанесённые мужем обиды, пока это возможно, и кажется, что на вид живут хорошо. В старое царское время с женщиной вообще мало считались, но даже и теперь она далеко не равна с мужчиной. Я уже много видела в жизни и пришла к заключению, что все мужчины эгоисты и деспоты по отношению к женам. Им это так свойственно, что они свои поступки не замечают и не признают. Они любят, чтобы им уделяли максимальное внимание, ласково встречали и провожали, ухаживали за ними. А когда он чем-нибудь раздражён, то и без причины может накричать на жену, а она потерпит.

Вот примерно какой характер мужчины, даже того, кого мы считаем хорошим мужем. Он не задумывается, может ли жена за ним ухаживать. Может, она очень устала. Скажем, оба работают, и, вернувшись с работы, жена опять за работу, к детям и одновременно подаёт и ухаживает за мужем. Мне не пришлось видеть, чтобы муж эти обязанности исполнял наравне с женой. Муж считает, что это вполне естественно, так и должно быть.

Поэтому жизнь девушки беззаботна и безобидна только до замужества. Хорошо ли ей живётся или плохо, при любых условиях она никому ничего не обязана, и никто ей не командует, и ни за кого у ней душа не болит, и сколько у неё есть, с неё довольно, потому что она одна.

Вернусь опять к тому месту, где я остановилась. Итак, мы поженились. Пришли к его родным в дом усталые и разбитые. Вместо того чтобы радоваться, что нам удалось после таких преград жениться, то есть соединить наши жизни, мы сели обдумывать наши дальнейшие планы. Перед нами встал вопрос, что делать. Как начинать жизнь и с чего? Денег почти нет, за исключением 25 руб., что тётя Геся подарила на кровати. Мы бы очень хотели остаться в Клинцах. Сняли бы комнатку и устроились бы на работу, но так как, к нашему несчастью, в Хотимске осталась хатёнка в наследство от отца, то его отец очень настаивал, чтобы мы ехали жить туда, хоть мы этого не хотели, и никто не советовал этого делать. Но разве можно было возражать?

Я уже писала, что его отец не любил считаться ни с кем, считая все свои поступки реальными [правильными. — М.Б.]. И поэто-



му, помимо нашей воли, мы поехали в Хотимск. В нашей избушке жили квартиранты. Они нам обещали, что когда нам нужно будет помещение для себя, они нас пустят. Когда же мы приехали, то на пару дней они нас пустили, а потом взяли и выкинули наши вещи и нас на улицу. Вот как началась наша новая семейная жизнь.

Из уважения к моему покойному отцу наши хотимчане за нас вступились. Они созвали третейский суд, и нам пришлось выплатить им 25 руб. для снятия другой квартиры. Так мы начали нашу новую жизнь без денег. У нас стало много друзей, искренне преданных, но материально помочь нам было некому.

Нас прозвали «любовь и бедность». Конечно, несмотря на нашу бедность, мы жили очень дружно. В недостатках не винили друг друга. Мы были довольны, что живём спокойно. Оба работали, но на жизнь заработать не могли. Был богатый столяр по имени Алтер-Турик, и он нам поставил обстановку [мебель. — *М.Б.*] бесплатно. Он сказал, что у него всё равно негде ставить. Убрали мы избушку как игрушку, но есть временами просто нечего было. Клинцовские арендовали в Хотимске огороды, один из них был нам знаком. И вот он узнал, что мы живем бедно. Дело в том, что по нам это было не особенно видно. В доме чистенько, одеты тоже чисто. Однако этот огородник был очень умным стариком и, узнав [о нашей бедности. — *М.Б.*], стал нас поддерживать овощами и одалживал нам деньги. А рядом тетка Лыфша только замечала, если я в пятницу поздно печку топлю, и это потому, что раньше у меня не было денег купить [продукты к субботе. — *М.Б.*]. [Получалось, что. — *М.Б.*] заходит солнце, и я должна остаться голодная и сегодня, и завтра. Она не спрашивала меня, почему я поздно топлю, а угрожала, что зальёт водой печку. Всё же неоднократно мы оставались без еды, боясь скандалов с её стороны, если у нас раньше не было что готовить<sup>1</sup>.

Но это [еда. — *М.Б.*] у нас было на последнем плане. Мы завели компанию молодёжи, организовали любительский драмкружок. Играли пьесу по Гордину «Хассе ды Иосейме» [Сиротка

---

<sup>1</sup> Еврейская религия запрещает зажигать огонь и готовить пищу в субботу, которая начинается в пятницу с заходом солнца. По этой причине в пятницу после обеда все нераспроданные скоропортящиеся продукты на рынке резко дешевеют и становятся доступными для бедных.

Хася]. Я играла Хасю, а мой муж — Трахтенберга. Играли хорошо. Был большой сбор в пользу Общества бедных евреев г. Хотимска. Мне поднесли после окончания спектакля много вкусных вещей. К последнему акту мне из публики бросали цветы. Этот спектакль мне никогда не забыть. Нас не волновало, что у нас жить не с чего. Мы жили весело.

Всё же [материальный. — *М.Б.*] недостаток и пережитое мною сказалось, и я заболела на следующую осень. Это было в 1911 году. Сначала как будто бы несерьёзно, но дальше больше, болезнь приковала меня к постели. Если раньше не с чего было жить, но мы были здоровы, то теперь я была больна. Нужен доктор, лекарства, питание. Где взять? Мы начали одалживать, а мне всё не лучше. Я уже провела в постели осень и зиму. Началась весна. Однажды к кому-то привезли врача из г. Климовичей. Его и ко мне привели. Хорошего он не сказал. Мне становилось всё хуже, а чем я больна, ни один врач определить не мог. Однажды, когда мне стало очень плохо, позвали местного врача, и он в моем присутствии сказал, что я безнадежна и что если я доживу до лета, то меня нужно везти на кумысное лечение. Меня этот разговор не поразил, так как мне уже надоело лежать и мучиться и мучить своего молодого мужа.

Когда доктор нас покинул, мой муж бросился ко мне, рыдая: «Не беспокойся, я не дам тебе умереть. Ты должна жить». Ночью того же дня мне во сне стало плохо. Мой муж дежурил у моей постели, заметил это и взбудил [разбудил. — *М.Б.*] меня. Проснувшись, я потеряла дар речи, не могла говорить и потеряла чувствительность. Я всё слышала и видела, но стала какая-то безразличная. Мой муж начал меня тормошить, кричать и плакать, просить меня, чтобы я ему хоть одно слово сказала. Но не могу. Всё тело как полено, ничем не повернуть. Он в ужасе кричит: «Ты умираешь!». Никогда мне не забыть его ужасное лицо. А сама лежу и рассуждаю: «Почему люди не хотят умирать? У меня теперь ничего не болит. А почему он плачет?». Только страшно хотелось повидать перед смертью единственного брата, сказать ему, чтобы он особенно не плакал по мне и чтобы был человеком, и посмотреть на него последний раз. Ведь у меня больше никого нет, муж и брат.

Лежу я в таком состоянии, а мой бедный и замученный муж мечется во все стороны, не зная, чем мне помочь. Каждую минуту он умоляет меня сказать ему, что со мной, и всё одно повторяет, что он хочет раньше меня умереть, что без меня он жить не будет. Он хочет бежать, звать кого-нибудь на помощь, но как меня одну бросить? Наконец он бросает меня и бежит стучать к тётке Лыфше. Когда он достучался, то вместо того чтобы пойти что-нибудь делать, ему ответили, что, мол, руки не подложишь. Разбитый, он выбежал на улицу и увидел двух девушек — прислуг, [которые. — М.Б.] засиделись на скамейке. Он к ним подбежал и попросил их зайти ко мне, а сам побежал за фельдшером, так как доктор сказал, чтоб его больше не звали.

Когда девушки явились ко мне, то при виде меня заплакали. Мне это было тоже странно. Или я была в эту минуту очень страшная, я до сих пор не знаю. Я потом сколько раз спрашивала мужа, как я выглядела тогда, но он мне не отвечает ничего.

Когда муж привёл фельдшера, фельдшер стал считать мой пульс, а потом что-то мне сделал. Словом, спустя немного времени я пришла в себя и заплакала. Помню, как теперь, что фельдшер сказал, что теперь она ваша, а не взбудили бы, то она бы во сне умерла. Фельдшер ушёл, а мне стало уж совсем хорошо. Обрадованный муж мой нагрел чай и пил вместе со мной, и под утро мы заснули.

Не мешает ещё добавить об издевательствах над нами со стороны самого дядьки Алтера. С первого дня нашего пребывания в Хотимске он всё старался выжить нас. Всё хотел завладеть нашим дворцом. Когда я заболела, была зима и стояли большие морозы. В доме было холодно. Пол промёрз, нужно было засыпать завалины. Это в провинции на зиму обсыпают снизу деревянные домики. Но Алтер не даёт обсыпать завалины у той стены, которая у него во дворе. А там стоит моя кровать, в которой я лежу больная. Люди его срамят, проклинают, а он и не думает пускать. Нам велят идти к приставу, тогда его заставят. Но как идти на родного дядьку приставу жаловаться? Конечно, не пошли, и пришлось взорвать [взломать. — М.Б.] пол, кое-как изнутри засыпать. Для этого нужно было с улицы носить землю, и так выстудили избу, что мне стало много хуже. Неудивительно, что когда мой муж к

ним обращался ночью за помощью, они не пошли. Они, возможно, даже радовались этому случаю.

После той ужасной ночи, когда мы уснули, как только настало утро, и им куда-то было нужно идти, то они, то есть мои милые дядька и тётка, взбудили нас и привели к нам своих пятерых или шестерых человек детей. Мы прямо возмутились этим безобразием и нахальством с их стороны, [при том, что они. — *М.Б.*] знали, какую [мы. — *М.Б.*] имели страшную ночь. Но у нас не хватило смелости выгнать их всех и закрыть перед ними двери раз и навсегда. Конечно, этот день был для меня очень тяжелый — [пришлось. — *М.Б.*] провести его среди малых детей. Но всё же я стала поправляться.

Постепенно начала садиться, потом сходить и, наконец, вышла на улицу. Я выглядела очень страшно, прохожие останавливались на меня посмотреть. Меня это очень волновало, и я начала гулять во дворе, чтобы меня никто не видел. Решили отправить меня к врачам в Киев, а пока в Клинцы. А оттуда в Киев. Наступили совсем тёплые дни, меня посадили на подводу и еле живую повезли в Клинцы.

Приехала к родным моего мужа. Меня сняли с подводы, а отец моего мужа, сердитый, говорит матери: «Я раньше говорил, чтобы он на ней не женился, что она болеть будет, а теперь держись с больной женой всю жизнь». Конечно, он был прав, но кто помог меня волновать? Кто нас посылал ехать мучиться голодом в Хотимск?

Решили обратиться к врачу Гребенникову. Это был врач, который говорил больному всю правду в глаза, даже если ему скоро умереть. К нему и пошли. Когда он меня послушал и спросил о моих родителях, то я уже решила, что сейчас он мне прочтёт смертный приговор. Но вышло иначе. Никуда не велел ехать и советовал хорошенько питаться, не волноваться и сидеть в лесу. Дал лекарства.

Однако лето было дождливое, и я жила от леса далеко. Больше приходилось сидеть дома. Мой муж писал им умоляющие письма, что я у него всё, что если они его жалеют, чтобы они меня спасли для него. Он уже не стеснялся их и своей любви ко мне. Он их просил, умолял в каждом письме. Но они меня не любили.

Это первое. К тому же эгоизм его отца не допускал к этому [нам помочь. — *М.Б.*]. Вдобавок, они были бедны.

Но тётя Геся, увидев меня, и тут проявила ко мне внимание. Она начала просить меня к себе. Мне, конечно, [у неё. — *М.Б.*] было бы гораздо ближе к лесу, спокойнее и питание хорошее. Но отец устроил скандал; как это его опозорить? Его невестка уходит от него к дяде? Он совершенно не считался с моим здоровьем, а считался со своим «я». Я и тут уступила; не хотела ему возражать. Теперь я только жалею. Почему я была такая дура? Нигде и никогда не считалась со своим здоровьем, а во всём уступала его эгоизму, во вред себе.

Тогда тётя придумала другое. Она стала мне присылать продукты, чтобы отец не знал: масло сливочное, яйца, курей резанных, мясо, шоколад и всякие вкусные вещи. Когда я в хорошую погоду сидела в лесу, она мне присылала вкусный обед, и я стала быстро поправляться.

Но моему [свекру. — *М.Б.*] не верилось, что я поправляюсь, и при удобном случае он сам неожиданно явился. Я испугалась его внезапного появления и упала в обморок. Мой муж увидел это и испуганно закричал: «Воды! Воды!». А отец в это время, ругаясь, ему говорит: «Это она хочет тебя со свету сжить. Она тебя испугать хочет. Она притворяется. Она только что пела с нашими девочками». Но муж на него так посмотрел; этим взглядом он всё ему сказал, за всё время. На что отец ответил, что «ты муж её, и по еврейскому закону ты ей всем обязан [все для нее обязан делать. — *М.Б.*], даже если нечем кормить, ты должен продать своё пальто и содержать её, хоть она этого и не стоит, а я не обязан».

В то время мне нужен был полный покой, но приходилось ежедневно выслушивать разные лекции, распоряжения, незаслуженные упреки со стороны его отца, и я боялась открыть рот сказать хоть полслова в своё оправдание. Единственно кто меня в семье понимал и жалел, это была ныне покойная сестра мужа Эйдля. Она тоже была всеми забытая в семье, потому что она была тихая, кроткая, безобидная. Работала она больше всех, а обижаема была всеми. Её очень избивали. Главное, отец её совсем не любил. Он больше всех любил Симу. Её одевали лучше всех, и она работала

меньше всех. Эйдля была на свою семью очень обижена, а меня она искренно любила и старалась оберегать меня от волнений. А я старалась до прихода отца побывать у тётки, чтобы на минуту забыть эту обстановку.

Пролетел месяц, и я хорошо поправилась. Когда я вторично явилась к моему врачу, он восторгался моей поправкой. Теперь я больше, чем раньше, не хотела ехать домой в Хотимск, где я всю жизнь ничего хорошего не видела. И что меня там ждёт? Родных никого почти, за исключением семьи дядьки Алтера, которая не могла дожидаться, когда они от меня избавятся. Но его отец сказал ехать, и иначе быть не могло. Когда я вернулась в Хотимск здоровая, то муж боялся показывать меня людям, чтобы меня не сглазили. Спрятал меня. Но друзья настойчиво требовали посмотреть на меня, и ему, бедному, пришлось отступить от своей идеи. Все восхищались, глядя на меня, как я оправилась, тем более что [помнили. — *М.Б.*], какую они меня проводили.

Жизнь опять пошла своим обычным порядком. Настала осень 1912 года. Моему мужу нужно призываться [в армию. — *М.Б.*]. Льгота есть<sup>1</sup>, но иногда, если большой набор, и льготных забирают. Я в отчаянии, не столь оттого, что его заберут, а оттого, что останусь одна далеко от родных, в таком месте, где нельзя заработать на жизнь. Но возражать отцу нельзя. Наконец, пришло время призыва, и он освободелся по льготе. Когда он вернулся домой, я опять начала спрашивать, на сколько мы сюда сосланы его отцом. Он мне ответил, что и сам не знает, что он об этом опять говорил с отцом, но отец категорически запретил нам выезжать из Хотимска.

Делать было нечего; опять остались мучиться. Прошла зима, весна и лето почти. Мы узнаём, что его отец серьёзно заболел. Мы начинаем в письмах умолять его разрешить нам вернуться в Клинцы. Наконец он соглашается. Мы начинаем продавать своё имущество, но Алтер опять тут как тут. Не даёт никому покупать под разными угрозами, а сам даёт полцены против другого. Нечего было делать, пришлось ему продать почти даром. Все равно что он отнял у нас. Наконец его душа успокоилась, выжил нас. Я же была очень рада, что еду в Клинцы, где сумею заработать

---

<sup>1</sup> Женатых не брали в армию в первую очередь.

себе на жизнь. Но моя молодая неопытность не предвидела большего [худшего. — *М.Б.*], что я буду жить возле его родных, которые меня и поныне ненавидят. А нужно было выехать в любой другой город, где можно устроиться работать и быть подальше от родни.

1913 год. Август месяц. Приехали в Клинцы. Перед нами такая картина. Дедушка болен. В доме нужда. Нужно устроиться жить и работать. За деньги, вырученные за домик моего отца, можно было купить жильё, но опять сказалась наша неопытность: деньги ушли, и мы остались ни с чем. Сняли комнатку и мастерскую. Сразу по приезде в Клинцы, когда муж мой увидел такую картину, он начал от меня отдаляться. Причин было много. Первое — это то, что нужно было ехать в Гомель приобретать инструмент и ещё кое-что для работы. Мы решили ехать вдвоём, но его отец восстал, что он маму за собой не таскал и как-то живёт. Правда, муж доказывал, что я нигде не была и, может быть, потом не сумею, так как я носила первого ребенка, Заю. Тут-то я поняла, что попала из огня в полымя. Что здесь я должна буду мучиться всю жизнь.

Так и вышло. То горе, которое я похлебала до выезда в Ленинград, это невозможно описать. Кровь стынет в жилах, когда вспоминаешь лишь отдельные эпизоды. Во всём мире нет более бесчеловечных людей, чем была его семья по отношению ко мне. Тут-то они решили свести со мной счёты за то, что я вошла в их семью без их согласия. И опять моя неопытность и неприспособленность к такой жизни. К тому же моё одиночество. Кому мне жаловаться? Кто мне поможет? Боже мой! Всему миру чужая и ненужная, а сама выхода не нахожу. Каждый день приносил мне новые страдания, в то время как еще были свежи раны вчерашнего дня. Свежи раны, нанесённые ими мне. Глотаю втихомолку слёзы и жду ребёнка.

Наступили осенние праздники. Его отец велит праздники у них проводить. Идём туда вместе. Приходим. Мужа окружают, начинаются от меня секреты. Обратно идём ночью. Темно. Он бежит вперёд. Злой. Я часто спотыкаюсь, падаю, иду тихо, а он на ходу ругает меня, почему я отстаю. Иду и глотаю слёзы, и не жду лучшего.

Однажды мы ключ от комнаты у них дома забыли. Придя домой без ключа, мой набросился на меня, не подумав о том, что поздний час, и люди спят, и о том, что мы в одинаковой степени виноваты и что так недавно я ему была хороша, и о том, что люди могут услышать, а это не так красиво. Открыв кое-как комнату, он продолжал ругать меня. И где только слова подбирал? Не так давно он был такой добрый, ласковый. Куда это всё делось? И чем я это заслужила? Не пойму. Всю ночь до утра проплакала.

Утром, когда он пошёл умыться, слышу его разговор с хозяином квартиры. Хозяином был Медведев Айзик. Он меня раньше очень уважал и даже интересовался мной, но он был старше меня на восемь лет, и поэтому я его не хотела, о чём неоднократно [потом. — *М.Б.*] жалела. Он с женой жил хорошо, а я жила убитая горем своей несчастной судьбы. Вот до моего слуха доходит, как он ему говорит: «Что же, Мейлах, ты от неё хочешь, не понимаю. Её хотели взять лучшие, чем ты. Тебе удалось победить. Значит, она тебе нравилась. Так почему же ты так с ней обращаешься? Я всё вижу. Ты слушаешь свою семью. Так почему ты их не слушал раньше и женился на ней? Ты с ней плохо обращаешься, потому что за неё некому заступиться. Так знай, что найдутся!». Мой Мейлах ни слова не сказал, а ушел и снял другую квартиру. К вечеру мы перебрались.

Опишу новую квартиру. Если мы жили у Медведева с людьми, то здесь стояла избушка в саду. Двор длинный, и покаходишь садом до этой избушки, низенькой, похожей на баньку. Не доходя до избушки, справа стояла развалинка. Она принадлежала одному старику-портному, который хоронил детей. Умрёт у кого-нибудь ребенок, его зовут. Он забирает и хоронит. Ему за это платили. Говорили, что бывало, что он из-за непогоды не похоронит в тот же день, и он их тогда оставлял в сарайчике. Узнав об этом, я боялась быть одна дома.

Осенние ночи. Ветры. Шумят деревья. [Их шум. — *М.Б.*] похож на плач ребенка. А я одна томлюсь своими страшными мыслями. [Муж. — *М.Б.*] возвращается домой поздно. После работы к своим пойдёт. Тётя Геся, узнав о нашем приезде и осмотрев наше новое жилище, очень была недовольна и решительно протестовала. Она нам начала подыскивать другую квартиру и не разрешила



мне ходить к его родне после того, как Медведев, бывший наш хозяин, её информировал о происходившем и о плохом отношении ко мне со стороны моего мужа. Тётя нашла мне отдельную квартиру, состоящую из комнаты и кухни. Квартира была весёлая. Тётя жила рядом, и она часто присылала ко мне прислугу, чтобы мне было легче в последние дни [перед родами. — *М.Б.*]. Это было в начале декабря 1913 г.

Он меньше стал своих посещать и лучше стал ко мне относиться. Не знаю, что на него подействовало, разговор ли Медведева или то, что их меньше стал посещать. Во всяком случае, я немного успокоилась.

В начале 1914 года родился мой старший сын Израиль (Зая). (Когда я себя почувствовала плохо, я его посылаю за акушеркой, а он спрашивает, какие ему брюки одеть, будние или субботние.) Отношение ко мне папы стало лучше. Ведь здесь, под носом у тётки, я была как у Христа за пазухой. Летом 1915 г. умер его отец. Это был поистине ужасный удар по семье. Когда я пришла к ним, он лежал мёртвый, и это была потрясающая картина. Девять человек детей, из коих четверо были малыши, а из пятерых старших трудолюбивыми были только Малка и Эйдля, которых семья за это не любила. Средств к существованию никаких. Голые стены. Разутые, раздетые дети, так как из-за его долгой болезни всё ушло на лечение. Так как мой муж был самый старший, то налетели на него, как коршуны на добычу. «Ты старший, ты обязан». Но он от всего случившегося серьёзно заболел легкими, и пришлось отправить его лечиться.

Сначала он поехал в Киев к профессору, а затем в частный санаторий Отводск, это под Варшавой. Это написать или рассказать просто, а как осуществить, если местные врачи вынесли ему смертный приговор? А я без средств и с ребенком на руках. Могу с гордостью сказать, что благодаря моим усилиям, авторитету, которым я пользовалась, мне удалось это осуществить. Разве можно было бессредственным людям мечтать в то время о санатории?

Во время его пребывания в санатории был убит сербский принц<sup>1</sup>, и начались толки о неизбежности войны. Муж мой вернулся домой, не добыв [до конца. — *М.Б.*] срока лечения, но за

---

<sup>1</sup> На самом деле серб убил австрийского принца в Сараеве.

это время он окреп и поправился. Но мне от этого радоваться долго не пришлось. Его нужно было усиленно питать и держать на даче в сосновом лесу. Мне, с крохотным ребёнком на руках, приходилось работать днём, а ночью ещё зарабатывать ему на питание, не думая в то время ни о себе, ни о ребёнке. Вспоминаю, как, бывало, он возьмёт Заю на руки и, обливаясь слезами, говорит ему: «Мне не вырастить тебя. Ты папу не будешь помнить. Мама тебе расскажет, какой он был, как он тебя любил». Каково мне это было слышать?

Помню, сидел он на Почетухе в лесу. Я готовила ему обед и кефир, а для того чтобы на это заработать, я другим дачникам делала кефир и приносила им в лес. Кто может себе представить, [как это. — *М.Б.*] таскать два километра в гору, на одной руке полугодовалого малыша, в другой — ношу с бутылками и обедом? Отдыхать не могла, потому что потом ношу не поднять. Трудно передать, в каком состоянии я приходила к месту. Волосы растрёпанные, лицо красное, язык к гортани присыхал. Но мне ничего не было трудно, лишь бы ел и поправлялся. Однако очень редко это [обед. — *М.Б.*] ему попадало. В большинстве случаев приходила его родня, зная, что у него вкусные вещи, и ему от моих трудов ничего не доставалось. Вот это было для меня большое огорчение. Ведь они были вполне здоровые и могли тем же питаться, что и я. Ведь никто не может себе представить, как это мне доставалось, это первое, а во-вторых, пополнить [съеденное ими. — *М.Б.*] ему было нечем, и никто не думал о том, что речь идёт не об этом обеде, а о спасении его жизни.

Несмотря на все трудности, мне удалось поставить его на ноги. Вспоминаю, как было трудно добиться, пока он что-нибудь съест или выпьет стакан молока, или сливки. Как правило, в молоко я старалась класть сливочное масло. Поставлю ему молоко, и стараюсь приноровиться к его настроению [чтобы он выпил. — *М.Б.*]. Потрогает стакан, скажет «горячо», а потом опять попросит пить, скажет «холодно». Берёшь подогревать. А ведь условия были какие! Подогревать — значит разжечь щепки и на треножнике греть. Подогреешь, и опять та же картина. Или вдруг рассердится, не будет ни пить, ни есть. Не помогут мои уговоры, что у нас ребёнок, и его растить нужно, и что мне это трудно до-

бывать и приготовить. Ничего не помогает. Тогда волю даёшь слезам. Одинока. Всегда почти находилась в полном одиночестве.

1914 г. Война. В городе ужас что творится. Забрали всех мужчин. Паника ужасная. Настроение подавленное. Нет дома, где нет горя. Мужа забраковали из-за болезни. Заработать копейку нигде. Я устраиваюсь шить овчинные шубы для фронта. Работа грязная, тяжёлая. Всё время извести, и от этого у меня нарыв на глазном яблоке. Чуть слепой не осталась. Бросать работу — это значит остаться без хлеба.

1915 г. Заболел дифтеритом Зая. С большими усилиями и каким-то чудом его удалось спасти. В сентябре появляется второй ребенок, Маша. Я одна работаю, тяну семью. Муж работает изредка, так как ему нет работы. А его семья, бездельники, ничего делать не хотят, а тянут с нас последнее. Они без стеснения приходят, идут в шкаф и берут, что им нравится. При них неудобно сказать, а когда они уходят, я начинаю говорить мужу, что этого нигде нет, чтобы, не спрашивая хозяйку, брать, что нравится. Ведь я этого не делаю. И всегда я слышала гневный ответ, что моего здесь ничего нет и что это его, а если мне не нравится, я могу уходить на все четыре стороны.

Пыталась я им говорить, что они плохо поступают, но он тут же при мне скажет им: «Не слушайте её, она здесь не хозяйка, а вы хозяйева, потому что это моё, а если ей не нравится, пусть уходит». Это их очень радовало. Ведь они меня раньше ненавидели, а теперь я им мешала. После [их. — *М.Б.*] ухода я начинаю плакать, упрекать отчаянно, но никогда не последовало [от него. — *М.Б.*] утешительное слово или признание вины, а наоборот, всякие оскорбительные слова по моему адресу, что неприлично их писать. Я таких слов ни в каком приличном доме не слышала, тем более от мужа, который два года добивался моего согласия выйти за него замуж. [И это я заслужила. — *М.Б.*], имея двух крошек и работая без усталости.

Его семья, увидев его отношение ко мне, начала добиваться, чтобы он меня бросил. Они ежедневно приходили и подносили [доносили. — *М.Б.*] на меня ими же выдуманную грязь<sup>1</sup>, а он тут

---

<sup>1</sup> Добу-Мэру обвиняли в том, что она на улице разговаривает с другими мужчинами.

же, при них устраивал мне скандалы. Я потеряла голову. Будучи от роду 23 лет, пройдя за такой короткий срок жизнь столь трудную, я все же до сих пор не слышала ни от кого по своему адресу плохого слова. Ждала и надеялась на улучшение своей жизни в замужестве, и, какой ужас, все надежды рухнули, и выхода нет. Одна во всём мире, с двумя крошками на руках. После каждого скандала, которые были часто, я начинала обдумывать, анализировать себя. Может, я не права? Не найдя за собой вины, я только приходила к выводу, что мешаю. Потому что каждый мой шаг преследуется. Как бы я ни делала и что бы я ни делала, всё не так. Всё подвергается насмешкам, упрёкам, оскорблениям. Как будто ни к чему человек не годится.

Наблюдая, я убедилась в том, что, когда его семьи нет, он тише. Доброе слово я уже давно не слышала, но хоть тихо. Дети пугаются его крика. Узнав об этом, тётя Геся пришла ко мне и говорит: «Собирайся. Будешь жить у меня. Раньше не была лишняя и теперь не будешь. Хватит тебе здесь мучиться. Выходит, ты была права, что не хотела за него замуж идти, боялась семьи, а я тебя уговорила. А теперь такое мучение? Ни одёжи, ни ёжи, ни доброе слово [ни одежды, ни еды, ни доброго слова. — *М.Б.*]». Ему стало стыдно, и он говорит: «Я женился не для того, чтобы жена жила у вас». Тут он дал тётке обещание, что его семья к нему ходить не будет и что он станет со мной хорошо жить. Действительно стал лучше ко мне относиться, и я с облегчением вздохнула. Старалась забыть, и жизнь вроде стала спокойнее, но в душе осталась пустота. Чувство любви женщины было вытравлено.

Пройдя такую тяжелую жизнь, [я надеялась. — *М.Б.*] найти утешение в замужестве, забыть плохое, быть кем-нибудь любимой, [а в результате оказалась. — *М.Б.*] обманутой навсегда. На что теперь надеяться? На побои? Так лучше быть побитой, чем ежедневно оскорблённой и оплётанной. Этого не расскажешь и не напишешь. Это только может понять человек, [который был. — *М.Б.*] на моём месте.

Радуюсь тому, что стало тихо, я всячески стараюсь угодить во всём. Мне помнится, что во время скандалов я неоднократно спрашивала: «В чем моя вина? Скажи, как тебе нравится и что ты любишь, и я охотно исполню, лишь бы тебе угодить». Но ответа

на столь резонные вопросы не следовало, ибо, по-моему, он сам плохо в жизни разбирался, так как его эгоизм и власт[ность] мешали ему понять.

Время идёт. Жизнь из-за войны становится трудней. [Люди. — М.Б.] ежедневно получают с фронта плачевные новости, похоронные. Измена была большая. Был царский генерал Раненкамф, немец, и он всю силу русскую продал с помощью русской царицы — немки. Он всю действующую армию и весь запас (резервистов) ввел в западню, на заминированный мост, самая [лучшая. — М.Б.] сила погибла, а он бежал<sup>1</sup>.

Продуктов нет. Жить нужно, и кушать хочется. Когда есть нечего, кушать хочется больше. Война идёт третий год. Немец побеждает. Веры в победу над врагом ни у кого нет. Пущены, как всегда в таких случаях, слухи о том, что якобы евреи продали войну и помогают немцу. О том, что они якобы тайно собрали золото и отправили в Германию, и медикаментов туда послали. Это вызвало новую волну ненависти со стороны антисемитов. Евреи, глотая слезы, оплакивали своих близких, погибших на поле боя, и должны были вдобавок терпеть такое оскорбление от русских. Да! Они к этому привыкли, но всё же каждый раз это вызывает возмущение и горе<sup>2</sup>.

Итак, моя жизнь проходит в бедности, а иногда и в неприятностях. Муж понемногу забывает своё обещание моей тёте. Опять начинает ходить к нам его родня, опять старое, правда, потише.

1917 год Рождение третьего ребенка, Рахили<sup>3</sup>. Жизнь стала ещё трудней. Я выбиваюсь из сил, добывая на жизнь, а его семья ничего не хочет делать. У нас хлеба нет, а на Украине хлеб есть.

---

<sup>1</sup> Доба-Мэра передает тогдашние слухи. Слухам, порочащим немцев, она верит, а евреев (см. ниже) — нет. Павел-Георг Карлович фон Ренненкамф получил командование Первой армией Северо-Западного фронта во время Восточно-Прусской операции. Его действия в сражении у Танненберга (17 августа — 2 сентября 1914 г.), в особенности плохая координация действий со Второй армией (командующий — генерал Самсонов) закончилось поражением русских, потерявших 30 тыс. убитыми и 95 тыс. пленными. Никаких официальных обвинений в предательстве Раненкамфу не предъявляли. За отказ поступить на службу в Красную армию был расстрелян большевиками в 1918 г.

<sup>2</sup> Употребление настоящего времени здесь, видимо, не случайно.

<sup>3</sup> Рахиль родилась 3 августа 1917 г.

Его семья переезжает на Украину, так как там жили наши Абрам с Малкой<sup>1</sup>, и жили они прилично. Приехав, они разорили их, так как, по старой привычке, работать не хотели. Увидев, что у Малки ничего не осталось, кое-кто из них начал работать. Работали Мотя и Гита. Эйдля у нас осталась. Она меня любила и не хотела с ними уезжать.

Мать<sup>2</sup> в их семье никакой роли не играла. Тихая, набожная женщина, подавленная большой семьей и горем. К тому же не было в семье дружбы между собою. Каждый считал необходимым что-нибудь из семьи урвать, и вполне естественно, что бремя падало на плечи матери, которая гнулась под его тяжестью. При попытке сделать какое-либо замечание детям она получала от них оскорбления.

В их отсутствие наша семейная жизнь наладилась. Покойная сестра его, Эйдля, меня морально поддерживала. Ей, бедной, тоже жилось несладко. Её дома не любили за её доброту. В особенности отец её ненавидел. Несмотря на его плохое отношение, она часто за ним ухаживала во время его болезни, до последней минуты жизни, в то время как другие делать этого не хотели. Но вот мать начала звать Эйдлю туда, на Украину. Она, бедняжка, ехать не хотела, и я её на этом основании отпускать не хотела, но раз желание матери, то она уехала. Выяснилось, что [у них. — *М.Б.*] никто работать не хотел [и что. — *М.Б.*] для этой цели её вызвали [чтобы она работала за них. — *М.Б.*]. Прошла волна тифа, и у них вся семья переболела, и она за всеми ухаживала дома, но когда все поправились и она заболела, за ней ухаживать некому было, и её отправили в больницу, где её больная в бреду избила и она скончалась. Вот по ней я плакала, как по родной сестре. Тут я лучше поняла эту семью людоедов. Что я могу от них требовать, как чужой человек, когда за родной сестрой посмотреть не хотели, несмотря на то, что она их всех спасла от смерти?

1917 год Февральская революция в России. Свержение самодержавия. Это для всех было неожиданно. Свергнуть Николая II, вырвать с корнем дом Романовых без борьбы? Без кровопролития?

---

<sup>1</sup> Брат бабушки, Абрам, женился на сестре дедушки, Малке.

<sup>2</sup> Хая-Рейзе, ур. Злотина. Убита вместе с двумя дочерьми и четырьмя внуками во время немецкой оккупации в октябре 1941 г.

Это никому не снилось. Но факт. Разъезжают по улицам офицеры, кричат: «Нет царя! Да здравствует свобода!». Несмотря на то что народ этого хотел, в тот момент все были, как заколдованные. Боялись, не провокация ли это. Вышла газета. Мне помнятся ясно первые слова. «Кровавый Николай, доведший российскую страну до полной разрухи, добровольно отрёкся от престола. Власть перешла Временному правительству во главе с Керенским»<sup>1</sup>.

Пошли митинги. Музыка. Целуются. Поздравляют друг друга. Словом, весело. Но кушать нужно, и нечего. Война всё высосала, и к тому же глупое руководство. Царь был занят царицей, а царица Распутиным. Отсюда и вывод. Начали приезжать люди с фронта. Они с возмущением говорили о прошлом и были недовольны настоящим. Говорили о том, что это не революция, а [настоящая. — *М.Б.*] революция только будет, и её возглавят другие люди. Появились большие плакаты «Мира, хлеба и свободы». Действительно, надоела война и голод.

Октябрь 1917 года Власть перешла к большевикам. У нас советская власть. Её возглавляет адвокат Корндорф, очень приличный человек. Держит город хорошо. Порядок полный. Вдруг горе. Говорят, немцы идут на Россию. Набирают добровольцев с ними сражаться. Но брать почти некого. Четвертый год воюют. [Остались. — *М.Б.*] одни старики, подростки и инвалиды войны. Пошли подростки. Город окружён. Подростки плохо держатся против немецкой, хорошо выученной армии. Немцы вступают в город. Все, как мыши, прячутся. Пошли аресты, расстрелы. Грабежи, пожары. К тем слезам прибавились новые слёзы. Установили свои порядки. Назначили варту [охрана, стража, караул, укр. — *М.Б.*], коменданта. Гайдамаки — это всё были русские. Только комендатура — немцы. Немцы начали из города последнее тащить и отсылать посылками домой.

В городе была подпольная большевистская организация. Она действовала. Большевики стояли недалеко от города по дороге на Москву, примерно в 15–20 км от Клинцов. Помню, что начальником варты был [некто. — *М.Б.*] по фамилии Пачес. Не знаю, какой национальности. Этот был хуже зверя. От его рук редко кто жи-

---

<sup>1</sup> На самом деле первым председателем Временного правительства был князь Г.Е. Львов.

вым остался, а если оставался, то ненадолго. После ухода немцев в его квартире обнаружили стены, прорешеченные пулями. Так как предателей было немало, то арестовали группу большевиков. В их числе были Лифшиц, Рива Красновская и несколько русских рабочих. Их очень пытали. Пачес любил такую забаву. Он допрашивал наверху, а тюрьма была внизу. Он любил сам после допроса сопровождать [арестованного. — *М.Б.*], и когда тот начинал спускаться с лестницы, Пачес в него стрелял, мотивируя тем, что тот пытался бежать. Это он делал тогда, когда не получал от арестованного никаких сведений.

Так как фронт был близко, <...> то подпольная организация держала связь с прифронтовой частью [Красной армии. — *М.Б.*], а оттуда их снабжали всем необходимым. Арестованных подвергали неслыханным пыткам, особенно Лифшица и Красновскую. Чтобы облегчить свое страдание, Лифшиц обещал показать, где оружие хранится, где литература. И вот он их водил по улицам, в лес, и когда его вели, ни одно сердце, даже разбойника, не могло оставаться равнодушным, глядя на этого несчастного полусумасшедшего в прошлом человека, который пожертвовал собой для народа. Несмотря на пытки, Лифшиц ничего не показал и никого не выдал<sup>1</sup>.

Вскоре партизаны ворвались в город со всех сторон. Кто мешал работать, тех быстро убрали<sup>2</sup>. Так как рабочие не были довольны немцами и гайдамаками, они помогали партизанам.

Начальник варты Пачес хотел уничтожить арестованных, но штаб положил на них много трудов и денег, поэтому их перевели в новозыбковскую тюрьму. Там они и находились, пока не вернулись большевики. Лифшицу недолго пришлось жить при советской власти. Его здоровье было подорвано пытками, и он умер совсем молодым. Что касается Красновской, то она долго живёт, но ушла с [партийной? — *М.Б.*] работы из-за умственных способностей [психического помешательства? — *М.Б.*], так как и ей даром не прошли пытки и тюрьма.

После посещения, то есть налёта, партизан, жизнь стала беспокойней. Ночью на улице стало беспокойно. Немцы жгут поме-

---

<sup>1</sup> Противоречит предыдущей фразе.

<sup>2</sup> Видимо, расстреляли.



щения, где они производили какие-то секретные работы. Тушить не разрешают. Каждый в щелку ворот или в калитку смотрел на улицу на происходящее и дрожал за своё жилье и семью. Участились ночные грабежи и убийства. Ходили слухи, что немцы уходят, что скоро придут большевики. Богатые эвакуируются, боятся контрибуции. По городу к станции беспрерывно идут обозы с вещами и ценным грузом. Маленькая и тихая станция ожила. Вокзал забит людьми и грузом. День и ночь стоит гул. Беспрерывно уходят эшелоны с людьми и вещами, но всех вывезти быстро, как это требовалось, железная дорога не могла.

«Чёрная сотня» пустила по городу слух, что большевики будут в первую очередь убивать евреев, так как они всегда от всяких неполадок страдают. Эта провокация подняла и бедняков-евреев на выезд, и они <...> бежали в неизвестном направлении. Дело было в декабре, и зима была холодная, из-за чего многие за своё легкомыслие жестоко поплатились. Помню, как мы, взволнованные, стояли у ворот и смотрели на бесконечные обозы удирающих людей разных категорий. Подходит к нам сосед, ювелир по фамилии Резников, с вопросом: что, мы будем смерти ждать здесь? В это время мимо проходил врач Е.Д. Поляков, наш родственник. Видя, что мы стоим растерянные, он к нам обратился с такими словами: «Что вы смотрите на сумасшедших, которые уезжают от большевиков? Вы им завидуете, не так ли? Так вот, знайте! Богатые уезжают, потому что они боятся за свой капитал. А зачем бедному бежать? Они (бедные) поддаются провокационным слухам и за это жестоко расплатятся. В город вступит Красная армия, которой командует Щорс, и никого не тронут, кроме притаившихся гайдамаков. Кто не будет им подчиняться и с населением обходиться плохо, его будут судить военным судом». Тогда мы все успокоились и вошли в дом. [Только. — М.Б.] дети плакали, дрожа от страха.

Во время налёта партизан на город, при перестрелке возле нас ранили мальчика лет десяти. Мы в то время жили в доме Исаева. Во дворе был большой подвал, и когда началась перестрелка, я схватила детей и в подвал, так как пули там не опасны. Увидев мальчика, истекающего кровью, я и его затащила в подвал, и так как йод и бинт всегда были со мной, я ему перевязала рану на

руке. Когда успокоилось, его отправили в больницу. Кто был этот мальчик, мне поныне не известно.

У нас была коровёнка, и вот как только начинают поговаривать, что будет беспокойно, папа тащит корову к бабушке. Мы жили в центре города, а бабушка на окраине, и он считал, что на окраине и вдобавок у мамы будет безопасно. Был у нас сосед Панизовский. Как только начинаются слухи, что в городе беспокойно, он с насмешкой всегда успокаивал: «Раз Медведев свою корову не повел к маме, значит нет основания бояться».

Помню, немцы зажгли напротив нас склад. Стало светло и страшно. Город остаётся без власти. Тушить запретили, и на улицу выходить нельзя было. Каждый стоял во дворе и дрожал от страха, что огонь перебросится на жилые дома. Но всё, к счастью, обошлось. Наутро город опустел. Люди не решались высунуть нос на улицу. Постепенно они начали показываться и решили организовать охрану города от ненадёжных элементов [грабителей? — *М.Б.*]. В состав охраны вошёл и мой муж, так как он любил такие дела и к тому же [охрана. — *М.Б.*] таки нужна была. Они охраняли город, патрулировали, как солдаты, с ружьями на плече, пока не пришли большевики. Был полный порядок. Только однажды ночью шёл пьяный, ему крикнули «Стой!», но он даже и не думал останавливаться. Тогда патруль был вынужден стрелять. Он трижды выстрелил в воздух, но тот не остановился. Тогда он вынужден был выстрелить в него, но, не желая убивать, он выстрелил ему в ногу.

Других событий не было. Людям надоела жизнь при немцах, и они с нетерпением ждали большевиков. Помню, что [большевики. — *М.Б.*] вошли 18 декабря 1918 г. Так как мы жили в центре, все события были около нас. Их встретили хлебом и солью. До вступления армии явилась конная разведка узнать, нет ли затаившихся врагов. Беседовали с жителями. После них вошла армия во главе со Щорсом. Пока их расквартировывали, они, несмотря на большой мороз, заполняли улицы. Был большой, многочисленный митинг напротив нашего дома. Так как армию нужно было накормить, то обратились к жителям с призывом помочь фронту и выпекать хлеб для армии из их [армейской. — *М.Б.*] муки. Некоторые откликнулись, в том числе и мы. Мы с мужем взялись

выпекать для них хлеб. К нам пришел сам Щорс, и мы ему очень понравились, и наш хлеб был самый лучший. Пока эта часть стояла в нашем городе, он часто к нам забегал, шутил с нами, с нашими детьми. Нам он очень понравился. У него было очень доброе лицо. В короткой кожанке, с кобурой на боку.

Интересно, что во время немецкой оккупации возле нашего дома часто стоял хромой бородатый мужчина и просил милостыню. Я часто выносила ему из дому что-нибудь поесть. Когда пришли большевики, он зашёл через пару дней, молодой, здоровый, без костылей, и обращается ко мне с вопросом: «Узнаёте меня?». Куда его узнавать? Тут он мне рассказал, что ему было поручено штабом следить за жизнью [в Клинцах. — *М.Б.*] и действиями гайдамаков. Так как большинство их пьянствовало в клубе, а клуб был напротив нас [то он стоял возле нашего дома. — *М.Б.*]. Он также следил за предателями из населения и передавал эти сведения [в штаб. — *М.Б.*], рискуя жизнью. Он так нас благодарил за то, что мы его поддерживали, и дал детям сахар. И эта встреча была нам так приятна, что никогда её не забыть. Где этот герой? Как глупо с нашей стороны, что мы у него не спросили фамилии, кто он и откуда. Бывает, не подумаешь вовремя, а потом жалеешь об этом и не вернешь.

Армия ушла на фронт, а в городе осталась власть советов во главе с ЧК. Первое время на душе у людей было беспокойно. Как всегда, в особенности в провинции, люди, зная друг друга и часто враждуя, пошли доносить в ЧК, этот — гайдамак, а тот — предатель. В первое время забирали много людей. Но ЧК очень разбиралась и тут же заявляла жалобщику, что «если ваши обвинения окажутся ложными, то ту кару, которая ожидает обвиняемого, получите вы». И стали меньше доносить. Понемногу жизнь стала налаживаться, но в городе разгорелась гражданская война, и опять буржуазия начала поднимать голову.

*Конец первой тетради*